

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал

Том 34
2017

г. Харьков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

**Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

Адрес для писем:
e-mail: editor2016@ukr.net
<http://slvn.org/>

ОТ РЕДАКЦИИ

РЕЦЕПТ ВНЕ ВРЕМЕНИ: «ПИСАТЬ СЕРДЦЕМ!»

Слепок времени – вот что перед вами, уважаемый читатель! В номере собраны далеко не случайные тексты. Это выстраданные в разной – поэтической и прозаической – форме иносказание о времени, переживаемом сегодня нашими соотечественниками. У нас с вами на глазах происходит необычайной значимости исторический перелом. Об этом уже столько говорили и еще скажут, что кто-то может заметить: «Ну куда вам еще про это писать...» А вот и неправда! Вообразите себя в каком-нибудь 2117 году и оттуда, из дальнего далёка, прочтите 34-й номер «Славянина» и вы ... вы просто будете потрясены мощью эмоций, чувств, переживаний, переживаемых нашими современниками...

Если поймут, конечно. Вот, скажем, в 2117 году поймут такие строки Марии Грабовской:

*Сердце мое утонуло в реке, зарылось в песок камбалою.
Солнечной сетью лучей лови – не поймаетшь.
Рябью ветров на воде – до дна не задуетшь.
Дикая степь берега распахнет, прикроет жухлой травой.*

Вряд ли. В цифровом-космическом мире 22 века будут настоящие сети из солнечных лучей. И морская рыба камбала перестанет водиться в пресной реке. Да и диких степей уже не будет – скорее всего. Вот как им нас понять?

Или вот Григорий Кулишкин. Пишет про цирк, где всегда должно быть весело и смешно, а после прочтения его рассказа становится тоскливо. Будут ли тогда разрешены транквилизаторы, чтобы избавиться от тоски?

Алексей Бинкевич создает сильный образ: «И спит Младенец на руке, / Как слово на ладони речи...». Сильный – для нас. А вот они - смогут ли представить слово на ладони? Или вот: «В лазоревом небе я высеял лес...» Запустить в небо/космос бесчисленное количество летающих аппаратов – пожалуйста, но вряд ли они догадаются как посадить деревья в воздухе....

Неприятные рассказы Инны Мельницкой таковые являются только по названию. На самом деле они очень душевные, добрые, переживательные. Она показывает нас самим себе. Своего рода «сценки из жизни». Естественно, многим не нравится смотреть на себя в зеркало. А вот как с этим будет через сто лет? С эксгибиционизмом, равнодушием, состраданием, любовью к ближнему – и дальнему?...

Чтобы потомки через сто лет смогли понимать прозу и поэзию наших современников, Александр Гордон подготовил для них специальную подборку «Мистецтво перекладу почуттів...» Это своего рода «тлумачний словник», без которого они не смогут расшифровать даже такие простые строки:

*Ти перемогла
мою смерть,
коли я закохався у тебе.
Кожна людина
має сповнити
свій обов'язок любові
ще за життя.*

Название повести «Никогда в этом мире» вовсе не означает, что события, художественно описанные, на самом деле никогда не повторятся. Ирина Глебова прекрасно понимает, что «ничто не ново под Луной», все повторяется – с разной вариацией, но разве в этом дело? Она ведь хотела сказать другое – всё, что происходит с человеком, уникально и неповторимо. Ибо уже никогда не сможешь прожить не только свои семнадцать лет, но даже день сегодняшний не сможешь повторить. И рефрен ее повествования сводится к простой фразе: люди, любите жизнь! Что, между прочим, касается и наших потомков...

Кирилл Мызгин дебютирует в журнале «Славянин». Он – не профессиональный литератор, что, однако, не помешало ему выпустить уже два сборника поэзии. И «Если станет город мне тюрьмой ...», то Кирилл наверняка напишет стихов на третий сборник.

По мнению всей редакции, повесть «В райских кущах за лесополосой» – центральный материал этого номера. Её сюжет незамысловат, герои – четверо доживающих свой век селян. Таких сегодня – миллионы, влачащих существование и потерявших надежду на перемены к лучшему. Но автор делает невозможное – он на короткий срок возвращает героям молодость, радость, они становятся счастливыми в свои восемьдесят лет. Я не буду раскрывать секрет как ему удалось это сделать, не буду объяснять по какой причине счастье оказалось скоротечным. Иначе читатель недополучит положенные ему эмоции. Рекомендую.

Дмитрий Ракотин делится с читателями своими переживаниями, навеянными от того, что к нему «Приходит грусть, по-свойски, как на чай...». И переживания настолько сильные, что вдохновляют его на такие красивые строки:

*Вне тоски, вне времён, вне надсадного гуда
Тихий храм, где на стенах лучи.
Я единственный здесь не надеюсь на чудо,
Зажигаю свечу от свечи.*

Нина Александровна Никипелова на примере творчества харьковчанина Бориса Чичибабина пытается разобраться как и почему рождается поэзия, что движет автором, какими средствами он пытается донести свои сокровенные мысли читателю. Вдохновившись его стихотворением «Мой лес вечерний...», Никипелова показывает, как рождается и живет поэтическая мысль в лирическом сюжете.

Пятый дебютант журнала Наталья Горишна живет и работает в Черкасах, закончила инженерно-оптический факультет. Что помогло ей впоследствии написать 14 книг оригинальной и переводной поэзии. Горишна, по ее собственным словам, «пише сердцем, сердцем сприймає світ». Возможно, это и есть та универсальная формула художественного письма, которую смогут ПОНЯТЬ наши потомки через сто лет...

*Леонид Мачулин,
гл. ред. журнала*

Мария ГРАБОВСКАЯ

ХРОНОМЕТРАЖ

И в себя-то саму заглянуть не умею всерьёз,
Но в чужие потёмки бегу, истекая слюной.
Принимаю тебя, размыкаясь, как питерский мост,
Размокая, как снег под босой ошалелой ступней.

Прижимаю тебя, чтоб унюхать, увериться: ты.
Наполняю деталями, осветив из пустоты.
Собираю, как паззл, то плечи, то линию рта,
То паркетные доски, то пальцы, запястный сустав

И сплетенье теней – а куда ж без аллюзий – ищи!
...И хрустят позвонки – или к разуму привяжь трещит,
Словно трётся песок в часовом механизме любви.
Чтобы легче остыть не желающим останови...

Мы далеко. Нас смыло столько лет,
Что скорости течения не измерить,
И можно только словом «глубина»
Неведомое нечто обозначить.
И только ветер на двоих один.
К кому он дует и кого связует?
Куда откуда воздух распростер
Огромной непротянутой ладонью?
Откуда я в камнях смотрю на воду?
Откуда ты морскую соль вдыхаешь?
Все это – слишком чуждые клочки
Земли, вплоть до разрозненных обрывков.
Дорога. Люди. Разная вода.

САУПТИКАПАРВА. МОЛИТВА

(из древнеиндийского эпоса «Махабхарата»)

Все полегли. Последним остался я.
Жатва свершилась. Новый грядет посев.
(Множество спящих птиц на ветвях. Баньян.
Черная Мать, пляши, уравний нас всех!
...множество птиц. Беззвучная тень. Баньян).

Сколько погибших... Что ж я еще живу?
Не разобрать: умерший чужой ли, свой.
(Падают птичьи головы на траву.
Черная Мать, ты видишь меня – совой?
...падают, падают головы на траву).

Месть не сотрет мучения друга, не
Сделает сном беззаконие и кошмар.
(Черная Мать, с собою наедине
Невыносимо. Можно сойти с ума.
...слёз больше нет с собою наедине).

Черная Мать, водопад из ворон иссяк.
Ветер разносит перышки, невесом.
(Под колесом сансары бессилён всяк.
Дай же мне стать бесчувственным колесом.
... под колесом сансары бессилён всяк).

ЦИКЛИЧНОСТЬ

Разъедает листву и течение дней
Вездесущая быстрая ржа.
И чтоб быть чужаками, поверь мне, что не
Обязательно переезжать.

Бездорожье собой заполняет пейзаж,
Растекаясь по небу вдали.
И над этой нелетною мрякой пей за –
За здоровье твое – и земли.

Но – изменится мир, и пребудет весна –
Неразумна, ясна и мудра.
Обретая ростки повторенного сна,
По спирали увидишь вчера.

И, свободной, веселой и бодрой пойдешь
По размякшей земле площадей,
Где кишит незнакомыми каплями дождь,
выживая под крыши людей.

Проливается небо из сотни прорех,
Словно пиво, шипит и горчит.
Это Патрик, танцуя на календаре,
Каблуками по тучам стучит.

КОЛЕСО

Осень путями как паутиной
путы плетет.
Пахнет дорога. Кожа ботинок.
Будущий лед.

Будто болото, воздух нетвердый.
Странная гать:
Ветки и лица, конские морды.
Выйду искать.

Не по себе от смутного жалю.
Дрожь не таю.
Кутаюсь в куртку, воображаю:
Люди встают.

Будто стена, туман расползется.
А за стеной
Масло сбивают, роют колодцы,
Ходят войной.

Автор, зевака – зри: жизнелюбы,
Как и хотел.
Смех, прибаутки, белые зубы
Абрисы тел.

Видишь, – старик, юница, ровесник,
Стайка девчат –
Дышат в закат тягучие песни,
Пляшут, молчат.

(Звон корабелы, пламя у края).
Жгут города.
(Их именами нынче играют
В «Что? Где? Когда?»)

Обороняют стены, и с миром,
Спят в пустоте...
Млечным путем, колесною лирой –
Долгая степь.

Запах травы и запах тревоги
Горек и жухл.
Воздух плывет. Обратной дороги
Не нахожу.

ИЗОЛЬДА

Сердце мое утонуло в реке, зарылось в песок камбалою.
Солнечной сетью лучей лови – не поймаешь.
Рябью ветров на воде – до дна не задуеть.
Дикая степь берега распахнет, прикроет жухлой травой.

Тело мое улыбаться смогло, смотри, как рот изгибает.
Прячет пустую легкую грудь под одеждой.
Слышит орган. В костеле играют Шопена.
Целая осень мне монастырем – тебя из лета не пустит.

Только шумит нескончаемый дождь, чешуей черепицу латает.
Тяжкие струи его – как тяжелые косы.
Тяжкие капли его – как взгляд твой нелегкий.
Что же ты делаешь здесь? Пропади, исчезни, изыди...

Хищная рыба, тень под мостом – ты ли родная?
Голос в порогах гудит и в трубах органных.
Ястреб парит вплотную к воде – не скрыться.

Долго ли случай сулит от любви уберечься?
Сердце мое утонуло в реке, зарылось в песок камбалюю.
Долго ли случай сулит от любви уберечься?

РИММЕ КАТАЕВОЙ

В той стране, где мне все еще двенадцати нет,
Непривычное эхо в слух изливает свет.
Непривычное эхо – вслух – не стыдись – поет.
Это голос ее, зовущий голос ее.

От зеленого звука травой ползет – строка
Прорастает, бьется на горле и у виска.
Приглашает и манит – пойдем, говорит, пойдем.
Расстилается речь, как сказочный водоем.
И блестит, блестит, как игла, словесная гладь,
И, чтоб выразить суть, довольно руку подать...

Я иду среди букв – или годы идут, спешат
Или строки бегут, как стая седых мышат.
И в стране, где уже исполнилось тридцать два,
Не меняется та, что меня увела в слова.
Поворот головы или пара случайных фраз
Превратит человека – в речь или жизнь – в рассказ.

И для тех, кто вокруг, начинает рождаться ритм.
Нарастает валами книг и волнами рифм.
Обретают образы плоть, мы летим, творим –
И знакомое эхо тихонечко шепчет: «Римм...»

Говорю, что тепло, что не может и быть теплей,
И разнеженный пар поднимается от полей,
Оживают сгоревшие лампочки и светила
И огарок свечи, расплывшейся на столе...

Говорю, что тепло, да и знает ли кто – теплей,
Я устала от придуманных мной ролей,

Но играю их – скорей уже машинально,
Как зима рисует бабочек на стекле.

Говорю, что тепло. Остальное давно не в счет.
Сколько лет под лежащий камень вода течет,
Чтобы в ту же воду стало возможным влиться
И уткнуться в прошлое, будто в твое плечо.

Говорю, что тепло. А слова холодны, мокры
Не как песий нос, как харьковские дворы
В декабре – дождливом, слякотном, повсеместном.
Это память (выдыхает) выделяет свои пары...

... И пора замолчать, забывая во что-то верить.

НА МОТИВ

...Вода утечет и смолкнет,
Зима убежит-растает.
И ранним апрелем мокрым
Ветра соберутся в стаи.

Курлыча ли, клином серым
Поднимутся (тьма – померкнет).
А тень их – твой путь на север
Отсюда до самой смерти.

Но поздно кружить парадом,
Грозою по всей округе –
И вряд ли мне будут рады,
Когда я вернусь на круги.

...И станет весна разводить закоулками сырость.
И небо по цвету напомним ворон над жнивьем.
(Учись не грустить и бесплатный вытаскивать сыр из
Ловушек судьбы: ведь не хлебом единым живем).

Вдохнешь, обернешься вокруг – неустанно дивиться
Начнешь, ощущая себя у любви на краю.
(Как ново вокруг. Обнови себе – кошку, девицу,
Привычки, друзей, телеграф, телефон, ICQ).

Проснется река. И трава забурлит берегами.
Земля, мостовая, асфальт – обратятся в траву.
(Появится час – научись – начни мастерить оригами.
Пошли мне журавлика, что ли – авось оживу).

...Как в лужах – вода, под глазами сгустилась усталость.
Авитаминоз? Или истины мало в вине?
(Не вспомни меня. В этом городе я не осталась.
И без толку думать, что город остался во мне).

Бездорожье – в изножье, а прошлое – в изголовье.
Засыпай. Начинай шутовское с собой сражение.
У легенды такое количество послесловий,
Что порой создается иллюзия продолженья.

Георгий КУЛИШКИН

ЦИРК

Случайно подслушал:

– Да что там, Савельич, если он в школу и то в Курске месяц – в одну, в Туле два месяца – в другую. У него же, кроме как здесь, никаких корешков...

Не составляло труда догадаться, что речь о нём, о Татосе, и он сжался весь, представив, чего это стоит папе, гордецу из гордецов, – просить.

Присутствие на генеральном прогоне старшего брата вязало по рукам и ногам. Брату всё удавалось. У него же, Татоса, что-то непременно должно сорваться в самый ответственный момент, и от страха, что так и случится, он давно уже и безысходно впал в окаменелость, неодолимую при брате, которого вечно ставят в пример, который, будто в насмешку, слёту исполняет всё, над чем Татос бездарно бьётся месяцами, но так и не может осилить.

– Пусть он уйдёт!

– А публику с представления тоже попросим? – заметил отец, придумавший для него, неумехи, этот номер.

– Пусть он уйдёт! – повторил Татос с истерикой, сорвавшей последний звук.

Брат, снисходительно улыбаясь, удалился в сторону фойе.

По взгляду отца с оркестрового балкона полилась музыка. Попав точно в условленный такт, Татос сбросил с себя на манеж роскошную белоснежную бурку, которая горкой улеглась в центре беспощадного к его промахам круга. Он был в чалме, блузе и шальварах восточного факира. Чалма не очень сочеталась с буркой, но создавала образ, а плотная кавказская накидка, касавшаяся подолом ковёрной крыши, призвана была утаить от зрительских глаз механику фокуса.

Сценическим шагом, которому так долго обучал постановщик, и который казался Татосу журавлиным, он отделился от сброшенного одеяния и, развернувшись, выбросил по направлению осевшего комом каракуля руки с нацеленными,

подобно свету из фар, пальцами и повелительно крутанул головой, нарисовав носом правильный круг.

Оркестр смолк, оставив одинокий голос флейты, и тут, словно кобра, послушная дудочке заклинателя, бесформенно опавшая бурка стала вдруг подниматься, раскачиваясь из стороны в сторону. Руки юного иллюзиониста изобразили приказ к вращению. Затем повторили и ещё раз повторили его. Бурка с большой неохотой повиновалась, поворачиваясь в указанную сторону размахом плеч и отставая подолом, ещё лежащем на ковре манежа.

Маг тарашил и без того увеличенные подмалёвкой глаза и, зачерпывая пригоршнями, швырял в сторону купола воздух. Его неистовые жесты велели подниматься, и бурка, всё ещё лениво, но и не в силах ослушаться, выпрямлялась, обретая постепенно форму вещи, надетой на человека. От секунды к секунде её движения набирали энергии, ленца и заторможенность сменялись всё более заметным желанием подчиняться музыке и пасам, посылаемым руками повелителя. Никто не заметил когда вкрадчиво к флейте присоседился барабан. Но зазвучал смелее, отчётливей. И убыстрял, делал заразительным ритм. Вскоре стало казаться, что это не бурка сама по себе – что в ней угловато и страстно отплясывает не на шутку разошедшийся человек-невидимка. Но вот безусый факир застыл, сковав в напряжении собственный жест. Каракулевая накидка тут же замерла и вытянулась по стойке смирно. Маг поманил её, скупым жестом направил себе за спину и милостиво позволил возвратиться ему на плечи.

Мэтры из худсовета аплодировали с той же искренностью, с какой отбивали себе ладони, слетевшиеся поглазеть пришлые и свои. Татос отвесил заученный поклон и выпрямился. На лице его сквозь слой грима просвечивал горячечный румянец. Не веря в успех, чувствуя, что вот-вот расплачется, он поклонился ещё раз – уже без претензии на артистизм. Потом, одурманенный счастьем, хотел отступить, чтобы, как это часто делают, уходя, продолжать кланяться благодарной публике, но наткнувшись на невидимое препятствие, вдруг нелепо всплеснул руками и опрокинулся навзничь. Из-под взметнувшегося подола выпал на всеобщее обозрение прятанный между верхом и подкладкой лилипут Василий с раздвижною шваброй в руках. О него-то как

раз и споткнулся всё позабывший от нечаянного успеха соискатель.

Оглушительный хохот взлетел под самый купол и рухнул оттуда на убийственно невезучего Татоса.

– А может, так и оставить? – всё ещё всхлипывая от смеха, предположил отец. – Неожиданно. И просто уморительно! Ну, уморительно же – а?.. – на что сражённый катастрофой сын, воспринимая в данную секунду любую весёлость только насмешкой, выпалил, опережая рвущиеся рыдания:

– Папа, но я же фокусник, а не клоун!

– Ты пока, к сожалению, ни то, и ни другое... – был ответ.

Ноги сами собой принесли его в каморку под кровлей, где обитала Элька с питомцами и где умирала Елена Сергеевна – пожелтевшая от возраста, а некогда белым-белая, как его бурка, собачка с потешной бородкой и слезливыми старческими глазками.

Он дружил с Элькой и был влюблён в её маму. Вернее сказать, не в саму маму, а в изображение на прежней её афише, которое снилось ему по ночам. В снах отсутствовала событийность. Одну лишь заботливую нежность он чувствовал всем существом и видел лицо в ярком кокошнике.

Элька там, на прогоне, выступала сразу же вслед за ним и теперь показывала старейшинам свой номер. Он прошёл в закуток, где на боку, вдыхая редко и тяжело, совсем не по-собачьи, лежала Елена Сергеевна. Над животом и рёбрами вздымалась шишковатая опухоль, заметная под неопрятной шерстью. Обессиленный, он сел рядышком на пол, положил руку на её голову. Представилось, какой была Елена Сергеевна в роли строгой учительницы – при очках и за комичным отдельным столиком.

Сил не было и сидеть – он лёг на бок, намеренно уткнувшись лицом в сухой и шёрхлый собачий нос и тихо, горько, как никогда, заплакал.

Здесь, в этой комнатке, варили для собачек кандёр из крупы и мелко нарезанного мяса. Или варёной колбасы – обжаренной и расчленённой кубиками. На слабой электрической плитке ведёрная кастрюля стояла подолгу, чуть ли не целый день, и соблазнительно пахла на весь цирк. Он чинил эту плитку, на которой то и дело перегорала спираль, и ел вместе с

дрессировщицами и собачками аппетитнейшее это варево.

Её, Элькину маму, в свой час называли солнечной девочкой. Но вот она стала брать на арену Эльку, и, подрастая, солнечной для всех сделалась та. Она отнимала на себя всё внимание, весь восторг публики и сияла ярче и ярче, купаясь в этом восторге. Понимая рассудком, что Элька ни в чём не виновата, мать ничего не могла поделать с ревностью, которая терзала её отчаянно. Особую неприязнь вызывали удачные находки девочки в их общем деле. Тогда, окончательно теряя терпение, она переходила на «вы», заявляя одно и то же: «Вам, Эльвира Эмилиевна, не то, что собачек, – вам людей доверять было бы преступно!»

И вот, оставив Эльке взрослых, знающих назубок роли собачек, она забрала недоученный молодняк и отпросилась гастролировать отдельно.

Элька любила маму, знала, что и мама любит её, но с ощущением потери после отъезда мамы чувствовала и облегчение, понимая, что так лучше, что вместе им не ужиться. Впрочем, понимание это никак не избавляло от пустоты сиротства – прежде половинного, только по папе, теперь же – круглого.

Услышав её счастливый голос и цокот множества собачьих коготков, Татос сел, пачкая потёкшим гримом рукав, промакнул лицо. Элька впорхнула, как на крылышках. Увидав его, из деликатности пригасила свет радости на лице. И посетовала:

– Вижу – хорошо принимают – и разошлась, плюхнулась с лёту на тумбу. А блёстка...

Она повернулась: сзади, от нижней линии трусиков, сплошную униженных сверкающими чешуйками, капель, оставляющей алый след, стекала кровь.

С полки, которые все были подняты повыше, недостижимо для собачек, сняла пузырёк с почернелой, будто обгоревшей пробкой, торчащей из горлышка, подала ему. Затем, стараясь не испачкать их кровью, сняла трусики, повернулась к нему ранкой.

– Только подуй сразу, ладно?

Его не волновал вид Элькиной раздетости, ну, может быть, самую чуточку. Он привык. Да и она, не прячась, не прикрываясь, упрощала всё до ничего не значащей обыденности.

Вчуже чувствуя жжение, которое причинит ей, он сквозь стиснутые зубы потянул в себя воздух и опрокинул пузырёк, чтобы

смочить йодом пробку. Прижигая, дул так, что зашумело в голове.

– Как там Сергеевна? – спросила она, отшпиливая от волос корону.

– Плохо. А у тебя – там?

– Приняли, – чтобы не очень хвастать перед ним, произнесла она беспечно. И, гибко выскальзывая из чешуйчатого топики, прибавила: – И твоё примут, папе не откажут.

Она хотела сказать хорошее, утешительное для него и вовсе упустила из виду, что ещё раз напомнила: он без отца – ничто.

Поднявшись на цыпочки, повесила проволочные плечики с костюмом для представлений на гвоздик выше полки и накинула на себя детский свой сарафанчик с надорванным кармашком. Присев рядом с ним возле Елены Сергеевны, сказала:

– Дядь Сашу позвала. Он говорит – усыпить. Своими руками, Татосик, – мыслимо?

Он не ответил – гладил голову Елены Сергеевны, касаясь Элькиной руки, которая почёсывала там же, за ушком. Собачка косила в их сторону благодарный жалостливый взгляд.

Постучали.

– Да! – отозвалась Элька.

Вошёл дядя Саша – ветеринар, а также электрик и слесарь, когда нужно. Присел, вздохнул печально.

– Жалко, дядь Саш, я не могу.

– Она же мучается, пойми!

– Ей очень больно?

– Человек на её месте кричал бы, не умолкая.

– А если – обезболивающее? Кто-кто, а она заслужила. Столько лет первая...

– Где же взять, Эль? Из-за наркош паршивых человеку не добудешь, а тут... И только растянули бы агонию. Решайся!

– Не знаю. Жалко. Ой, как жалко! – заплакала она.

– А как же не жалко? Конечно, жалко!

– Прости нас, Еленочка! – склонилась она к собаке, целуя. – Прости! Прости!

– Ты только остальных уведи. Они и так уколов... А это увидят – вовсе в руки не дадутся.

Плачущая в голос Элька кликнула собачек, вышла.

Доктор, по-детски хлюпая раскисшим носом, наполнил шприц.

– Это без мучений? – спросил Татос.

– Без. Все мышцы разом парализует – сердце, лёгкие. Несколько секунд. Прикрой ей глазки, пошепчи что-нибудь.

Мальчишка с размытым гримом на лице и в съехавшей набекрень испачканной чалме положил ей на глаза руку, припал губами к уху. Слов не нашёл.

Дрожь тремя рывками, а потом – едва заметная прошла по телу Елены Сергеевны после укола. Через минуту она затихла навсегда.

– Дядь Саш, – попросил Татос, следуя тому, что на душе. – А можно и мне такой укольчик?

Алексей БИНКЕВИЧ

«И СПИТ МЛАДЕНЕЦ НА РУКЕ,
КАК СЛОВО НА ЛАДОНИ РЕЧИ...»

ИЗ МИКОЛЫ ВИНГРАНОВСКОГО (1936-2004)

В лазоревом небе я высеял лес,
В лазоревом небе, любовь моя, любо
Тот лес из берёз и дубов будет весь
В лазурной стихии берёзы и дуба.

В лазоревом море я высеял сны,
В лазоревом море на синем подборе
Я высеял сны из твоей же весны
В лазоревом море, в весеннем прибое.

Тот лес зашумит, словно снов изумруд,
И явят тебе они в небе и в море,
В лазоревом небе, в лазоревом море
Тебя они явят и тут же замрут.

Дубовый мой посох, сверкание дня.
Ты рядом со мною, и птицы, и стебли,
В дороге и небо – себя в нём востребуй.
Дорога и море... и всё из тебя.

1965

Поехали на Сквиру, на грибы;
За свежим словом, тёмными медами,
Поехали за теньями орды,
Что вечно юны, веселы годами.

Где дядька крошит подсвинкам бурак,
Где тётка гусям – гиля, гуси, гиля! –
Где жёлтыми свечами коровяк
На наших, на казацких, на могилах

Цветёт и плачет. Бурые стволы
Глазами жёлтыми – единственная ветка!
Любовь, что безответна и бездетна,
Моя вдова, простите, – это мы.

Мы с карасями явимся к обеду,
У балочки поставим перемёт,
И так поедем, и исчезнем так бесследно,
Что коровяк на нас не зацветёт.

1970

Ты плачешь. Плачь. У слёз нет больше власти.
Закона нет, преграда убрана.
Ты плачешь. Плачь. Я утешать не мастер.
Моя душа нема и холодна.

Дни потеряв с тобою, стал я нищим, –
Взамен сожжённых лет, хоть что-нибудь просил я?
Вокруг тебя на стылом пепелище
Растёт покорность и растёт бессилье.
Я думаю: оставив перепалку,
Во имя сна зашторенных кулис
Меня предашь ты, выбросив на свалку,
Как шлейф соблазна, что в тиши завис.

Как мало ненавидеть и любить!
Как много нужно жить, чтоб только жить.

1957

ВОРОН

Мчит телок от оголтелой квочки,
Где трава разбрызгала цыплят,
А за ним по синим молоточкам? —
Папино и мамино дитя.

И с горы, где солнца жёлтый ломоть
Пашут туч впряжённые волы,
Зацепивши лемехом солому,
Над землею тихо поплыли.

Лишь телёнок с нежностью суровой
Радостно целуется с коровой,
И ему уже не до курчат.
А дитя под тополем играет,
Там, где хмель с фасолью обнимается,
Где поплакать можно, помолчать...

Там, на древе, ворон умирает,
Глянул вниз — а хоть всплакнул за жизнь?
Налетался, насмотрелся — знает,
Только не нажился-то, кажись!

Триста лет он не менял сорочки —
Да цыплят, навряд, переживёт!
А внизу по синим молоточкам
За телёнком девочка бредёт.

Ненадёжно ничто: ни в домах, ни в снегах,
Ненадёжна весна, ненадёжна дорога,
Среди степи в степи, среди степи в степях
Лишь могила идёт от могилы до Бога.

Осмотришься, оглянись, это мы иль не мы?
Даже коль задубеешь в беспомощной позе...
То стоят мои очи, как в морозы дымы,
Домерзает народ мой,
Как дым
На морозе.

Темнеет вечер, овцы и горбы,
Под гору поскакали две смереки,
Свет источают тучи и грибы,
И светит Путь, что из Варяг во Греки.

Пошевелись-ка, дождичек, и стань!
И бабочку пощекочи за ухом,
А там иди, захочешь, на Обухов,
Не хочешь на Обухов – на Саврань!

Ты, сумрачная птица, не лети
Из сердца за леса или за руки –
Вечерним солнцем тихо подсвети,
Как светит Путь, что из Варяг во Греки.

1980

Треплет ветер серую копёнку,
Мой шалаш – печальная броня.
Поливает дождик коровёнку,
Черногуза, цаплю и меня.

Не идёт никто, не проминает,
А пройдёт кто – глянет, не признает,
Что-то буркнет, белый свет кляня...
Только дождик, дождик втихомолку
Поливает в поле коровёнку,
Черногуза, цаплю и меня.

2003

Полпуда брынзы и корзина перца,
И серый дождик пляшет в казане...
Коль доведётся, то куда же деться,
С тобой придется помирать тут мне.

Вот запечём пяток головок лука,
Нашкварим свежих шкварок на обед...
Под тихий шаг зари, вод монотонных звуки,
На том песке и мы оставим след.

Здесь станем жить, одни на белом свете,
Под писк мышей летучих на заре;
Тут будем колыбельную петь детям,
Варить им серый дождик в казане.

1966

Ночь широка, сверчок под головою,
Сквозь тьму темнеет шёпот камыша,
Восход и... и восходят надо мною:
И Бог, и ты, и тихая душа.

И Чичикля, реченька цветастая,
Она поуже счастье вдовы,
И Бог, и ты, и я – все просят счастья,
Все просят счастья, как вода воды.

1965

Вставай, рыбак! Уж гаснут метеоры,
В густую полночь бьются каюки.
Ставь паруса и заводи моторы,
Где кручи, глэд, тропинки, будяки...

...Вставай, рыбак! И звёздной переправой
Веди моторов и челнов полёт.
Распоряжусь твоей солёной славой
И сладкую не отпущу в народ.

Губами волн мы счастье пьём и горе,
И пьём судьбы бесповоротной высь.
И чем сильнее нас качает море,
Тем меньше нас раскачивает жизнь.

1957

Отпахла липа, в белый цвет облита,
Из чрева лета катится гроза.
Ты ищешь где-то новую орбиту,
Тебе же я всего не досказал...
Волна пропахла яблоком и телом,
По лепесткам опавшим плачет мак...
И не всего с тобой нам дохотелось,
Пойми, прощаться нам нельзя никак...
Ещё смех волглый, слёзы не солёные,
Ещё не гонят в спину годы нас,
Пусть далеко до зимних перезвонов,
Хоть отскрипел давно весенний наст...

Отпахла липа, в белый цвет облита,
Дождинка покатила по плечу.
Ты ищешь лета новую орбиту,
А я, печальный, до сих пор молчу...

Всему свой час в молитве или в требе,
Приходит час цвести и час сгорать...
Темнеет лист на светло-тёмном небе,
И возле неба греется заря...

1968

МАРИЯ

На прилавке рученьки сложила,
Светлый плат на сером пиджаке,
На хлебину голову склонила –
Дремлет у буханки на щеке.

В тёмной юбке, сапогах товарных,
Фартук белый в меленький горох...
Сладко спит в метелице базарной,
А у ос сплошной переполох –

Шастают по сливам, гомонливо...
У хозяйки солнца луч в косе.
На хлебину голову склонила
И торгует сливами во сне.

1963

ПАМЯТИКИНООПЕРАТОРА МИКОЛЫБЫКОВА

Вода, ты плыви, и ветер, дохни.
Где кратер пчелы? Жизни где синий кратер?
Тебя обнимаю в объятьях войны,
Один, никогдасенький, мой оператор.

На дне у земли, где лишь темень живёт, –
Где кратер ночей? Жизни где лютый кратер?
Соломенный месяц и сеет, и жнёт.
Один – никогосенько – мой оператор.

Шинелька и фрак, блуза и кимоно,
И кто в сапогах там – всех их не собрать, и...
"Аймо" я держу в чёрно-белом кино –
А ты, мой единственный, мой оператор...

Где слёзы любили, огонь и печаль,
Где рвало сердца, и меняли фарватер,
На сизых устах твоих ветер и даль,
Ты рядом со мною стоишь, оператор.

1975

Ты? Ты пришла. Спасибо, – говорю, –
Пройди. Садись. Знай, в эти дни и ночи
Вчерашним взглядом я боготворю
Твои предвечереющие очи.

Удивлена? Здесь я нашёл себя.
Здесь выдумал я для тебя – тебя же.
Здесь вынянчил для неба сердце даже,
Не знал, что небом назову, любя.

Теперь послушай: сердце мне твердит, –
От прежних чувств остались полу-звуки.
Лицо любви нашей мне претит,
На нём застыло отражение муки...

Всё время повторяю, как во сне,
Зимою, в осень, летом, по весне:
Весной и летом, в осень и зимою
Две белых песни рук твоих со мною.

Ты – утро, полдень, вечер мой и детство,
Ты – ночь моя...
Хоть всё на свете – бегство!

1965

На белом – мазанки – чисты.
Увяз в сугробе зимний вечер.
Всклоочены дымов хвосты,
И козий дух, и дух овечий...

Цветут колодцы вдалеке,
На мрамор льда похож Путь Млечный.
И спит Младенец на руке,
Как слово на ладони речи.

1965

Мне б упрятать тебя за коня иль могилу,
Да коня и могилу где спрятать? Не вем...
Мне б упрятать тебя за Днепровскую спину,
Да Днепру самому-то укрыться за кем?

Мне б упрятать тебя, но куда, недотрога?
Может, в сердце своё, что привыкло гудеть?
Мне б упрятать тебя среди неба у Бога,
Только небу и Богу упрятаться где?

1986

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

НЕПРИЯТНЫЕ РАССКАЗЫ

ОТКРОВЕНИЕ

Ольга Сергеевна Крамова отложила журнал с непонятно тягостным чувством: вроде бы и мастеровито написано, а читать почему-то не хочется. Может, дело не в писателях, а в читателе? Несовременные у вас вкусы, Ольга Сергеевна! Журнал выпускает кучка пишущей молодежи – достаточно, впрочем, зрелой: нет в нём застенчиво-неуклюжей провинциальности – Боже упаси! Напротив, во всём ощущается эдакая авангардная столичность, эдакая несомненная, несколько высокомерная эрудиция: иной раз даже останавливаешься и невольно перечитываешь – ишь, как ловко сработано! Но вот поди ж ты: мастеровито – а не трогает, бойко – но нет радости от встречи. Только бесстрастно отмечаешь: ну да, лихо закручено, ничего не скажешь, – а зачем?

Откуда же всё-таки это неприятие, эта реакция отторжения?

И вдруг всплыло, непонятно к чему – откуда-то из глубин памяти всплыло давно забытое...

То лето было отмечено какой-то сплошной, тягучей полосой не-красоты. Каждый отпуск, каждое лето обычно предназначалось главным образом для того, чтобы зарядиться радостью новых впечатлений, запастись впрок, на долгую городскую зиму незабываемой красотой – то ли Байкала, то ли Ладоги, енисейской тайги или отрогов Тянь-Шаня, трогательным очарованием заполярной пушицы или величественным – Безенгийской стены.

А тут выпало – дымный промышленный город, пыльный и жаркий, серое, мелкое море, не праздничный, казённо-унылый санаторий с высаженными по ранжиру чахлыми кустами и выгоревшей травой. Озабоченно фыркающие на хоздворе обшарпанные грузовики, бальнеологический корпус, похожий на

банно-прачечный комбинат, и пыльная дорога на пляж – через напряжённую, ревущую моторами трассу, мимо проходной завода...

Соседки по палате попались неинтересные, сварливые, с утомительной потребностью поучать других, так часто присущей людям недалеким и малограмотным. Читать было нечего: библиотека была скудная, преобладали в ней почему-то затрёпанные книжки для детей среднего и старшего школьного возраста да одинаковые как близнецы творения из серии военных приключений. Окрестности были не живописны, до центра – далеко, а расписание лечебных процедур не позволяло надолго отлучаться. К тому же, после грязевых аппликаций и подводного растяжения купаться в море не разрешалось. Словом, жизнь предстояла – разлюли-малина!

Единственной отрадой в санаторном существовании была малая рощица в стороне от лечебных и хозяйственных корпусов. Она вся поместилась вдоль дорожки, ведущей к лестнице, которая спускалась к трассе. Зыбкая, негустая тень – не столько от деревьев, сколько от рослых кустов тамариска – трогательно пыталась защитить тебя от грубого, настырного солнца. Под большой акацией, одиноко торчавшей среди древесной мелкоты, прилепилась пара садовых скамеек с неразлучною урной – такие знакомо-неуютные на всех широтах нашей страны. Здесь можно было посидеть с газетой /если успеешь урвать/ или с библиотечным уродцем без начала и без конца, или просто так – со своими мыслями.

Иногда разделить её добровольное одиночество прилетала какая-нибудь птица – чаще всего скромненький, деловитый воробей. С ним можно было поговорить о мировых проблемах и о делах житейских, поделиться своими заботами и крошками припасённого от завтрака хлебушка. Слушатель был терпеливый, ни на что не возражал и лишь изредка косился на Ольгу круглой, блестящей бусинкой-глазом. Более интересных собеседников в санатории обнаружить не удалось – такой, что ли, заезд выдался никудышный? Даже море – если только его можно так назвать! – даже море здесь не радовало.

Привыкшая за годы странствий к тому, что Большая Вода всегда

прекрасна, Ольга, при виде этой лужи, чувствовала себя оскорбленной и обманутой.

Мелкие, мутные, суетно шлёпающие волны не освежали разгорячённые ноги. Никакой прохлады: вода – как столовский суп. На поверхности покачивались окурки и мелкие белёсые предметы, которые Ольга сначала сослепу приняла за крошечных медуз, а разглядев – с омерзением оттолкнула.

Дед её, балтиец, утверждал, что в скелете каждого Крамова, независимо от пола и возраста, непременно присутствует особая флотская косточка. Поэтому Ольга с детства помнила, что море требует уважения: в море нельзя плевать, нельзя бросать всякую дрянь, а тут... Просто это не море!

Периодически вспоминая о своём предназначении, спасатели лениво покрикивали: «Граждане, не заходите за буйк!». Реже: «Не заплывайте за буйки!» Оно и понятно: уж если до любого буйка можно дойти пешком, чего уж там заплывать! Море, называется!

Правда, некоторые аборигены утверждали, что есть места, где море почище и поглубже, но туда – минут двадцать автобусом, а ходят они не часто.

Временами на горизонте появлялось нечто длинное и плоское – такого Ольга ещё не видела – наполненное багрово-дымящимся светом, словно бы гружённое раскалёнными угольями.

– Это на тутошний завод англомерат везут, – пояснила соседка.

– Не англомерат, а агломерат, – поправила другая.

– Ну конечно, какие мы грамотные. Где уж нам!

Непонятно было: как эта калоша тащит по морю свой раскалённый груз и сама при этом не загорается? И как там люди терпят? Впечатление такое, что и море потому почти горячее, что по нему волокут этот уют.

Обратно посудина обычно шла скучная и темная. Что уж там она везла – или шла порожняком, потихоньку остывая, – неизвестно, и спросить было некого.

Процедуры были утомительны. Особенно тягостны – грязевые аппликации. Слабо освещённый зал, обслуживающий персонал в серо-зелёных клеёнчатых фартуках и оцинкованные столы с неподвижными черно-лоснящимися телами были похожи на морг, где все покойники почему-то негры.

Неприятность заключалась ещё и в том, что по каким-то

неведомым причинам часто прекращалась подача воды – то холодной, то горячей, или и той, и другой, и вместо того чтобы смывать грязь через положенное количество минут, её смывали, когда дадут воду, – случалось, и через полчаса. От этого начинало трепыхаться сердце, и среди больных полз шепоток, что злоупотребление радиоактивной грязью может вызвать заболевание похуже того, с которым ты приехал.

Словом, всё было не слава Богу.

А тут ещё поползли слухи, что на территории санатория появился маньяк. Полураздетый, он подстерегает женщин и демонстрирует им свои мужские достоинства. Одни пугаются, другие хихикают, а одну старушку из третьего корпуса с перепугу хватил не то инфаркт, не то инсульт.

Товарки её в тот день куда-то ушли, а она сидела одна у окошка и вязала, – как вдруг вязать почему-то стало темно. Старушка подняла глаза, и – о Господи! В окне, держась за решётки /палата была на первом этаже/, во весь рост, лицом к ней стоял голый мужчина – то есть абсолютно в чём мать родила! Рукодельница, понятно, в крик – но пока на крик прибежали, мужчина исчез. Бабушку увезла скорая; приехавшая в пустой след милиция никого не нашла.

Откуда-то стало известно, что нарушитель спокойствия – инженер, молодой ещё человек, пациент местного психоневрологического диспансера.

Отдыхающие требовали, чтобы на территории санатория дежурил милицейский наряд.

Стражи порядка, естественно, отбояривались: есть дела поважнее, а этот псих никого не трогает, ни на кого не нападает, – а что он показывает бабам свои подробности, так баб от этого не убудет. Можно подумать, что они в жизни голого мужика не видели!

Пару дней, однако, идя навстречу пожеланиям трудящихся, милиционеры походили по территории, по так называемому парку – задевали отдыхающих, заигрывали с молоденькими – а потом всё успокоилось и все решили, что маньяка упрятали в стационар.

Говорить стало не о чем – ведь недаром сказано, что на пустой улице и пожар – развлечение.

Ольга разграфила по дням листок из блокнота и с нетерпением

отмечала каждый прошедший день – скорее бы конец этому отдыху!

Однажды по отделению прошел слух, что в ближнем магазинчике появилась дешёвая иранская курага и отдыхающие расхватывают её ящиками. Ольгины сопалатницы, сплоченные единым порывом, помчались туда, а Ольга побрела через рощицу к пляжу.

Не то чтобы курага ее совсем не интересовала, но после подводного вытяжения носить тяжести даже с поясом штангиста не рекомендуется, так что Бог с ней, с курагой – как говорится, «семь лет мак не родил, а голода не было».

День был солнечный, но не жаркий, и, к тому же, свободный от процедур. Глядишь, если спасатели отлучатся, может, и поплавать удастся?

В рощице тоненько и сладко пахло цветущим тамариском, добросовестно трещали цикады, и само собой подумалось, что одиночество один на один с природой куда приятнее, чем одиночество на людях. И тут вдруг откуда-то слева негромко прозвучало: «Девушка, девушка, постойте!»

Голос был мягкий, робкий, и Ольга с готовностью обернулась. Обернулась – и оцепенела: раздвигая ветви тамариска, из кустов выступила залитая солнцем обнаженная фигура – словно вдруг ожила одна из статуй в аллее Летнего сада. Гибкий торс был юношески строен, бледное молодое лицо казалось страдальческим.

– Милая, родная!..

Ожившая статуя, качнувшись, молитвенно опустилась на колени в колючую, выгоревшую траву:

– Милая, родная, не отводи глаза!..

Рассыпая на ходу купленные по дороге ягоды шелковицы, Ольга рванулась прочь, пряча под широкими полями шляпы пламенеющее лицо. Вдогонку ей неслось:

– Милая, родная, спасибо тебе! Прости, прости меня – слышишь, прости!..

Минут через пять, не слыша за собой шагов, Ольга отважилась оглянуться. Дорожка была пустынна.

Народу на пляже было не очень много. Окинув взглядом распластанные на песке распаренные тела, Ольга внезапно

почувствовала острый укол какого-то душевного неблагополучия. Что это? Какая-то щемящая заноза – испуг? Сострадание? Жалость?

Перед глазами стоял оживший мрамор обнажённого торса и страдальческие глаза. «Спасибо, милая! Прости, прости меня!..» Прежней гадливости, которую она испытывала, когда соседки судачили о деяниях маньяка, больше не было. Что же осталось – боль? Чужая, непонятая боль?

Вернувшись в санаторий, Ольга никому ничего не стала рассказывать. Срок путёвки заканчивался, и через три дня она с облегчением села в санаторный автобус, отвозивший отдыхающих на вокзал. Она знала, что больше никогда сюда не приедет.

А почему, собственно, всё это вспомнилось? Ах да, журнал! Эти мальчики и девочки, равнодушно и настырно, во всех подробностях заголяющиеся перед читателем, – нет, больше она их читать не будет. Этот стадный, старательный эксгибиционизм – он вызывает не сострадание, а безразличность. Может, потому, что за ним не кроется настоящая боль?

Хотя – как знать. Как знать...

ПОПУТЧИЦА

Что-то меня в ней беспокоило. Не знаю что. Девушка как девушка, худенькая, неяркая, вежливая, но не общительная – такая вот неброская, почти незаметная, случайная соседка по купе. И всё-таки что-то в ней меня беспокоило. Наверное, глаза – прозрачные, светло-зелёные, какие-то настойчиво-пустые, без улыбки и без хмури.

Двое наших попутчиков, крутые, уверенные и шумные, ушли, слава Богу, в соседний вагон, объяснив, что там составила компания.

После их ухода в купе зависла ничем не заполненная тишина, и я осторожно спросила:

– В командировку, что ли? Или домой?

– Домой, – обронила соседка. – Можно сказать, из командировки.

Ответ прозвучал скучно и не поощрял к продолжению разговора. Я отвернулась к окну, но она неожиданно подбросила в гаснущее общение щепочку-реплику:

– Памятник ездила устанавливать. Учительнице своей.

Учительнице? Это с такими вот холодными глазами? Что-то во мне качнулось – то ли интерес, то ли недоверие.

– Любили её, наверное

– Трудно сказать. Всякое было – от любви до ненависти. Вот только равнодушия не было – это точно. Она к нам в седьмом классе пришла. Пришла – и сразу сказала: «Зовут меня Лидия Сергеевна, я ваш новый классный руководитель. Буду преподавать русский язык и литературу – только русачкой меня за глаза не зовите. Русак – это заяц, и я не русачка, а словесница». Так её и прозвали – «словесница», хотя слово-то длинное, прозвища редко такие бывают... Очень необычно преподавала – и спрашивала тоже не как все. Придёт, оглядит класс – вот эдак, сощурилась, – и сразу: «Ну что, кто сегодня хочет с Белинским поспорить?» Заметьте, не по учебнику! Мы ведь привыкли печатное слово считать непреложной истиной, а тут пожалуйста – спорь, если можешь – опровергай: всё дозволено! Только чтобы спорить, надо знать, думать надо! И спорили – до хрипоты, и гордились ужасно, что у каждого своё мнение и что она у нас такая. Но вот у меня с ней как-то не складывалось. Я её обожала – и ненавидела, ненавидела – и обожала. Вызовет меня – я нарочно всякую чушь городить начинаю, а она только бровь поднимет: ты так думаешь? А я вовсе так не думаю, просто несёт меня куда-то – не знаю куда, не знаю зачем. Бывало даже, выскочу из класса и потом реву где-нибудь под лестницей. Почему-то она мне всё прощала, и в четверти у меня всегда пятёрки были... А потом, в десятом уже, она вдруг рассчиталась и уехала на родину. Быстро так, неожиданно – никому ничего не сказала. После мы узнали почему – только уже надежды не было. На похороны весь класс съехался – мы по цепочке всех оповестили. Тут недалеко. Денег собрали на поминки – у неё там ничего не осталось: лекарства, операция... А вот насчёт памятника... Это ведь не сразу – сразу нельзя, пока земля не осядет, – а люди, знаете, остывают понемногу... Ну, а я решила – в лепёшку расшибусь, а поставлю!

С мамой советовалась – нет, говорит, памятник – это дорого. Я узнавала: приличный – не шикарный, а так, достойный хотя

бы, долларов двести – двести пятьдесят. Ну где такую сумму взять? Собрать – не получается. Дала объявление в газету: «СРОЧНО ЗАРАБОТАЮ ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ» Они там три раза печатают.

В первый раз позвонил один: «Ты где живешь?» – спрашивает. – «А что?» – говорю. – «Как что? Куда идти?» – «Нет, нет, – говорю, – ко мне нельзя». – «А нельзя, так на кой ляд объявление давала?» И трубку бросил.

В другой раз позвонил какой-то, говорит: встретимся у кинотеатра. В правой руке у него будет газета – ну, и у меня тоже. Конспирация – прямо «Подвиг разведчика». Подхожу к кинотеатру – стоит, газету держит. Такой – ну как бы вам сказать – усредненный какой-то. Вы, спрашиваю, по объявлению? Да, – пойдем? Куда? Куда надо.

Пришли в коммуналку какую-то – комната полупустая, запах какой-то нежилой, голое окно, голый стол, лампа голая. Видно, в квартире не живут, а так – время от времени – бывают. Пошарил в буфете, достал стакан и кружку щербатую, бутылку поставил, колбасы-варёнки накромял, батон нарезал. «Выпьем, – говорит, – для начала?» – «Спасибо, – говорю, – не хочу. Я обедала». – «Не хочешь – дело хозяйское. Однако для порядка налью». Налил. Пальцы у него короткие, толстые, жирные от колбасы, и руки такие – не по туловищу короткие. Выпил, пожевал. «Ну чего стоишь?» – говорит. – «А что я должна делать?» – «А ты не знаешь, как быстро деньги зарабатывают? Пей давай – и раздевайся. Только гляди – ты не больная?»

А я и слова сказать не могу – головой мотаю! Знала бы Лидия Сергеевна, во что я впуталась!

Диван пыльный, продавленный, затхлый какой-то... Как этот скот меня измусолил!

Тискал, мямл, руки потные, жирные, сам сопит, морда красная, злая... А я глаза зажмурила, зубы стиснула – скорее бы конец!

Наконец, отвалился. «Хватит, – говорит, – вставай, одевайся». «Мне бы обмыться...». «Ещё чего, – говорит. – Тут квартира коммунальная, ванна общая. Дома плескаться будешь». – «А деньги?» – говорю.

Достал, суёт мне двадцатку. Нет, не доллары. Наши. И всё? За всю эту мерзость? «А что ты, – говорит, – хотела? Тебе что – твои клиенты больше платят?»

«Да вы не поняли, – лепечу, – я же не проститутка...» – «Чего

там не понял – понял я: была бы профессионалка, научилась бы уже чему-нибудь, а то лежишь как колода – никакого интереса. Двести долларов ей надо – видали? Пятёрка тебе цена – да и то в базарный день».

Ушла как оплётанная; держу эту двадцатку в кулаке – и пальцы разжать не могу...

Я слушаю её ровный, бесцветный голос – и не могу понять: зачем она всё это рассказывает? Как я должна реагировать на эту исповедь? И как несовместимы этот тусклый голос – и то, что она говорит! Вот только руки – сухие, бледные – они как будто существуют отдельно и непрерывно плетут тонкими, нервными пальцами какую-то странную вязь.

Пауза. Я ловлю себя на том, что пытаюсь вжаться, укрыться в тень от верхней полки: не надо, нельзя, чтобы она видела выражение моего лица – я же не знаю, каким оно будет в следующую минуту!

Но она продолжает:

– Третий раз напечатали – и позвонил ещё один. Молодой, уверенный: «Вы в каком районе живете? То есть, скажем так: где вам удобно встретиться? Я сейчас подъеду – минут через двадцать, нет, лучше через полчаса... Как я вас узнаю?»

Спасибо хоть «на Вы»!

Договорились. Я запоздала немного. Не то что завозилась, а просто страшно было. Подхожу – нет никого. Ну что ж, слава Богу, думаю. Аж легче стало. И вдруг подкатывает белая машина – не шикарная, нет, но – ухоженная: «Садитесь! Я не ошибся?» Нет, говорю, не ошиблись. «Ну что ж, поехали». Как мы ехали, ей-Богу, не знаю: ничего вокруг не видела. Помню только, что недолго.

Приехали. Обычный подъезд. Поднялись в лифте на какой-то этаж – а я всё не могу ему в глаза взглянуть. Молчу – и он молчит. Вышли. Двери одинаковые, дерматином обитые. Щёлкнул ключом, посторонился – прошу! Принял мою курточку, повесил – будьте как дома!

А я как язык проглотила. Думаю, уж лучше бы он такой же противный был, как тот, – не было бы так стыдно. А он улыбается, просто так, по-свойски, и свёрток мне какой-то протягивает: «Я тут прихватил кой-чего, так вы уж там похозяйничайте, пожалуйста, по-женски: посуда на кухне – только чур не бить, а

то мне попадёт, достанется на орехи».

Ну, думаю, спасибо ему: всё-таки на кухне никто на меня не смотрит. Режу себе сыр, ветчину, ещё что-то там съестное – не помню уже что, – несу в комнату. На столе вино – высокая такая, тонкая, красивая бутылка, а он открывает «дипломат» и – представляете? – цветы достаёт. Это, говорит, вам, давайте в воду поставим.

Вот тут меня прорвало. Понимаете, ко всему была готова – но цветы!..

Он меня успокаивает – выпейте, говорит, вина, оно хорошее, лёгкое – не для попойки, а для разговора вино. Выпейте, легче будет. Зачем вам эти деньги вдруг понадобились? Ведь не просто так – а вдруг? Я на ваше объявление сразу внимание обратил: странное такое! И – как вы собирались их заработать?

Да разве я знала – как? Как получится...

И поверите – я всё ему рассказала. Какая она была, Лидия Сергеевна; как непросто у меня с ней всё складывалось; про внезапный её уход, про смерть... Всё-всё – и даже про то, стыдное. И как-то легче стало – будто нарыв вскрыла. Часа два мы с ним просидели. Нет-нет, он и пальцем ко мне не притронулся. То есть нет, один раз по голове погладил – когда я ревела, но это же совсем другое... Мы с ним посуду помыли и – «Ну что ж, – говорит, – давайте я вас домой отвезу. И вот, возьмите – вы же на меня целый вечер потратили». И даёт сто долларов! «А это, – говорит, – мой телефон. Захотите – позвоните».

– Позвонили?

В купе заглядывает проводник:

– Подъезжаем! Билеты вам нужны?

– Спасибо, не нужно.

Олександр ГОРДОН
«МИСТЕЦТВО ПЕРЕКЛАДУ ПОЧУТТІВ...»

Сполошилася тиша твоїм золотим почуттям.
Світ сховався за зайві обличчя безсмертя.
Серце вмилося вічністю, справжністю і пражиттям
Твоїх предків й нащадків щасливо-нестерпних.

Я не відаю, що там – за вічним покровом небес,
І за космосом душ, що прийшли із блакиті.
Я – лиш той, хто помер... Я лиш той, хто воскрес,
Я лиш той, кого виспівав вітер...

А гори, мов лелеки,
Летять у далину.
Далеко десь, далеко,
Вдягають сивину.

І шоломів зелених
Уже не видно нам.
Лиш капелюшки вчених
І завше сивих дам.

Посивіла природа.
Посивілі жінки.
Уперше бачу зроду
Посивілі рядки.

І навіть сні народу
Вже сивіють в мені.

Я вірші осінні читаю.
Ти слухаєш пізні рядки.
Обоє ми з іншого краю –
По той бік живої ріки.

По той бік безсмертя й століття,
По той бік життя і чудес...
Поети з гірської блакиті,
З окрилених ними небес.

Світ стихився, зболів, змолився,
Змалів. Знелюднів. Перемерз.
І я удруге народився
В передчуттях безкраїх меж.

Я був щасливим і нещасним.
Я був великим і малим.
Я був у світі передчасним.
А, може, надто молодим.

Мед твого тіла вечорів...
І на устах лишав зізнання,
Що ми вертаємось в кохання,
Як повертаються у Львів...

Дністер нам тихо шепотів,
Що будуть зустрічі й прощання,
Розлуки і печаль чекання,
І сонце справжніх почуттів.

А на душі – лише весна,
І у серцях – лише покірність...
У небі неземна чарівність
Буяє, досі мовчазна...

А ти в далеких мариш снах,
Що нас врятує тільки вірність.

На серці мовчання зими.
Прийди, принеси мені втіху.
Життям, мов крильми, обійми,
Теплом у минуле подихай.

Так хочеться просто тебе
І щастя одвічної тиші...
І пишуться аж до небес
Рядки почуттів і правіршів.

Львів – затишний, земний-зелений.
Одеса – чорне молоде вино.
А Київ – золоте стремено,
Блакитно-жовте серця знамено.

Черлений Ужгород чарує
Одвічними смарагдами Карпат.
Визбирують поліське руно
Бурштинні Ковель, Рівне, Новоград.

Холоднуватий Харків гріє
Думок Сковороди гаряча кров.
І утіка від чорного Чернігів,
І Станіслава пророста любов...

Застигли, як на заздрість тіням,
Відбитки душ в камінних стінах.

Вертаєшся знову до Харкова,
Коли розквітає весна.
Алеями вулиць і парками
Блукаєш у пам'яті й снах.

Тут мати твоя попід арками
Будівель Держпрому пройшла.

З тих фото, мов з чистого аркуша,
В життя розпочався твій шлях.

Те диво ніким не прочитане...
Чи в тому чиясь є вина?
Історія пишними квітами
Ппульсує у генах щодня.

А доля, як витвір легенди,
Все меншає, меншає, меншає...

Віками золотіє даль,
Весна розвіяна вітрами,
Неначе у чавунні брами,
Сховалась зелені вуаль.

Який насичений живопис!
Густішає яскравість фарб.
Здається, віднайшовши скарб,
Ти загубив його водночас.

Гойдається вечора зламана віть.
В. Стус

Ніч гойдається гілкою тиші.
Наче осінь, скрадається сон.
Свіжим золотом вибраних віршів
Увійдеш у земний полон.

Не пиши більш про смуток, не треба,
Осінь – це вже поема про смерть.
Львів, кохання і трішки неба –
Це найкраще з твоїх безсмерть.

Я вийду колись із міста
І піду за межі сонця,
Здіймусь на Високий Замок.
Шукаючи вічних істин,
Прочиню портал віконця,
Пройду повз німий світанок.

Мене, може, довго не буде,
Цвістимуть гіркі каштани,
Загублю себе на Стрийській,
Та потім згадають люди
Поезії снів останніх
І вічні легенди львівські.

Світ – надто великий острів,
Чекаємо завжди щастя,
Згорають і душі, й храми...
І тільки приходить осінь –
Ми прагнемо вічність вкрасти,
А небо бреде за нами.

НЕБО УКРАЇНЦЯ

Україна – далека, як горизонт.
І невловна, як небо...
Душа українця співає разом із соловейком
і читає українську ніч по зоряному небу.

Коли сплять села, спить і українець.
Нема нічого гіршого за сон українця.
Він може проспати і свою Україну.
І лише пісень та неба ніхто не вкраде у нього.
Бійтесь українського неба!
Воно безжалісне до своїх ворогів.
Ще нікому не вдавалося
загарбати українське неба...

ІЗ ЦИКЛУ «МОВОЮ ЛЮБОВІ»

Кожен поет
має розуміти,
що справжні почуття
не перекладаються
жодною мовою.

Поет малює красу
пензликом погляду,
фарбами кохання.
Вічність –
лише кут зору,
під яким ти бачиш
людину щасливою.
Через століття
твоє бачення
стає шедевром.

Вірші – це
мистецтво перекладу
почуттів словами,
золотих вершин якого
мало хто насправді
може сягнути.

Послухай ніч,
втомлену від життя.
Зігрій сонцем осінь.
Весна повернеться швидше
за твою молодість.

Потяг самотності
довезе твої вірші
у країну марень,
де сонця більше,
ніж першого кохання.

Щасливий день
розпочинається
з почуттів до тебе.
Твоя краса сходить
сонцем у моєму серці.

Ти перемогла
мою смерть,
коли я закохався у тебе.
Кожна людина
має сповнити
свій обов'язок любові
ще за життя.

Від поцілунку
твоїх очей
залежить моя доля.
У вічності
немає власної поезії.
Лише поезія нашого кохання.

Я вже не знаю
чого чекаю більше:
весни чи тебе...
Це добрий початок
для гарного вірша...
Бо поезія –
це лише мить очікування.
Коли не існує
жодної впевненості

чи ти взагалі прийдеш.
Від сьогодні
я чекатиму на тебе
кожної весни.
Чи може весна
прийти замість тебе?
Може.
Власне
так майже завжди
і буває.
Але тоді –
це лише весна.
І жодної поезії.

Твоє кохання більше
за моє розуміння поезії.
Поезія – велике
відчуття любові,
яке надається лише
закоханим одне в одного.
Ти – витвір моїх почуттів.
Я виліпив тебе із себе,
а ти прийняла моє мистецтво,
як власну долю.

Ніч без тебе,
неначе пісня без слів.
Сама лише драма почуття.
Слова народжуються
під мелодію твого голосу.

Кохання –
книга поезій.
Дописана книга –
це лише
спогади буднів.

Нічні розмови
завершуються
поезією ранкових віршів.
День без тебе –
смуток самотності,
з якого народжується
туга натхнення.
Немовля туги
дорослішає надвечір.

Спочатку я розмовляв з твоєю красою,
пізніше – з твоїм серцем,
а потім – з твоїм тілом.
Наймовчазнішою виявилася краса,
найтихішим – серце.
І тільки тіло
заспівало, неначе соловейко.

ЗАКОХАНІ СЛОВА

Цієї ночі
принесу в дарунок
кілька закоханих слів.
Можливо,
я їх говорив
і раніше.
Але тоді це були
просто слова.

Немає ночі,
довшої за сумління.
Немає ніжності,
більшої за вірність.
Немає життя,
цнотливішого за смерть.

Поезія лікує
хворих байдужістю.
Байдужість лікує
хворих поезією.
Поезія – це хвороба
закоханих у життя.
Закохані
не піддаються лікуванню.
Бо лікування –
це процес збайдужіння
до поезії.

Ти – книга моїх почуттів,
кожна сторінка якої –
це лише трагедія мого життя,
помножена на щастя
нашого кохання.

У книгарні «Поезія»,
в якій так багато
поетичних збірок різних авторів,
працює чарівна дівчина,
яка уособлює в собі більше поезії,
ніж усі ці книжки, зібрані до купи.

Слово – яблуко.
Воно спокушає поета на вірші,
людей на почуття,
а молодість – на кохання.

ІЗ ЦИКЛУ «ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ»

Справжні вірші,
неначе птахи,
перелітають із серця у серце,
з країни в країну,

з епохи в епоху.
Вірші – це перелітні птахи історії.
Вони можуть змінити все,
якщо тільки їх відчуття польоту
більше й вільніше
за відчуття польоту самої історії.
Вірші літають над нами, мов зорі.
Ми не можемо їх сягнути руками.
Вірші, немов дипломати,
мирять нас із майбутнім,
мирять нас із минулим,
мирять нас із сучасним
і вносять лад у нашу домівку
уже після нашої смерті.
Вірші – це перелітні птахи наших душ
із життя у смерть
і – в безсмертя.

Ми – перелітні птахи.
В сезон любові ми відлітаємо
у країну кохання,
там сонце зігріває нас більше,
ніж у холодній Батьківщині.
На Батьківщині завжди холодно
і війна за існування
не припиняється.
А ми прагнемо тепла вірності.
Тому лише в країні кохання
наші тіла перетворюються
на шедеври мистецтва,
а наші душі –
на справжніх захисників,
котрі прагнуть врятувати світ.

З дерев тікають осінні промені сонця
і звиваються на землі
від усвідомлення розлуки.
Поцілунки стають коротшими і швидшими –
як раптовий повів холодного вітру.

Зима наступає на п'яти кохання.
Настають ночі самотності.
Лицарі любові перетворюються
на самогубців власної долі.
Жінки, завжди незбагненні у своїх вчинках,
стають слухняніші
законам домашнього вогнища.
Сни частішають від призабутих почуттів.
Радість життя холодне...
Деякі душі вриваються
у двадцять перше століття.
Запах майбутньої весни
віщує нове сонце.

Ніч, розхитана вічністю, шукає безсмертя...
Зорі – це ті ж поети, лише увічнені часом.
Місяць підсвічує дорогу, небеса – пільма майбутнього.
Життя – віск нескінченності –
спливає, підпалене гнотом долі.
Ніж любові ділить діамант серця на обручки
усім коханим та рідним,
залишаючи на згадку коштовності почуттів.
Ніжність – останній старомодний годинник –
відлічує щастя взаємності.
Сни сняться рідко, лише тоді,
коли сплітаються з вічністю.
Коло молодості замикається прямою старості.
Ніч, розхитана вічністю, шукає безсмертя...

Лише нащадки вічності
зможуть дослідити
наслідки присутності
кожного поета.
Тільки в епоху
відсутності поетів
невігласи від історії
здатні повернути час назад.

Народ без поезії –
сліпий на власну совість.
Хто відповідатиме за майбутнє?..
Спитайте в минулого покоління...

Послідовність поезії –
закон історії людства.
Народження живого
неможливе без поезії кохання.
Кожна війна завершується
поезією перемоги.
А кожна епоха –
це поезія тиранів,
зчитана до дірок
простими читачами
через відсутність смаку
до будь якої
поезії...

Поети,
які пишуть вірші,
колись були
звичайними людьми.
Люди,
які читають поезію,
можуть колись написати
хоча б один вірш.
Ті, що написали
хоча б один вірш,
можуть
ще стати поетами.
Поети,
які написали
хоча б один вірш,
можуть ще стати
звичайними людьми.

Мої друзі загубили мене
під час пошуків власного шляху.
І тепер не можуть зрозуміти,
на якій відстані до істини
вони перебувають.
Кохана загубила мене
під час пошуків власного щастя.
І тепер не може зрозуміти,
на якій відстані до почуттів
вона перебуває.
Я загубив себе,
коли втратив друзів і кохану.
І тепер не можу зрозуміти,
чи моя совість чиста
до них...

Десь посередині життя
Я заховався у зеленому куточку
Дитинства. І відтоді
Ніхто не може збагнути,
Де мене шукати.
Читають мої вірші,
Аналізують мої спогади,
Сперечаються щодо моїх поглядів.
Так ніби мене вже давно немає
На світі. А я лише
Заховався у зеленому куточку,
Відкритому тільки
Дітям поезії.

Поезії судилася самотність
мільйонів підручників.
Поетам призначена доля
мільйонів самотніх.
Народ ніколи не розуміє самотніх.
Народ лише читає підручники...

Ніколи не даруйте поетові
щастя.
Ніколи не даруйте поетові
кохання.
Ніколи не бажайте поетові
віршів.
Ніколи не бажайте поетові
смерті.
Вони приходять самі.

Кожна людина – це країна мрій,
яка, на жаль, не завжди
здатна вибороти
свою незалежність.

Верлібровий народ
прокидався удосвіта,
розштовханий свободою слова.
Вільні слова
укладалися
у вільні вірші.
Вільні вірші
обіцяли
вільне життя
у вільній країні.
Світ
вільних віршів
дарував
свободу
своїм поетам.
Поети
пророкували
свободу
своїй державі.
Вільний вітер

розвіював
вільні вірші
допоки їх не підхопив
верлібровий народ.

Україна – країна поезії...
Покоління розучують вірші,
не розуміючи їх значення.
Наука змісту дається нелегко.

Вулиця колись протікала
серед зелені та будинків,
немов ріка Часу.
Стара ґрунтова дорога
тепер покрилася
сивиною асфальту.
І люди уже не відчують
землі під ногами.

Шукай
останній
день життя.
Бо з нього
починається
безсмертя.

Ти посадила квіти,
а восени вони зів'яли.
Ти посадила дерева,
а восени вони
відплодоносили.
Ти написала вірші –
і лише восени вони дозріли
та почали рятувати від самотності
звичайних людей.

Поезія – це сонце,
яке променями слів
рятує людей
від самоохолодження.

Переклад – майстерність
передачі іншою мовою
таємниць тексту,
про які не здогадувався
навіть автор.

Люди не читають письменників.
Сліпі літературознавці
не добавляють поезії.
Зате радіють з кількості графоманів
на душу населення,
що заповнили
поетично-життєвий простір.
Ніхто не дихає
Словом, Вчинком, Почуттям.
Амбіції швидкого успіху
бездарних людей
пропонуються до вживання
менеджерами книготоргівлі.
Книжки – раби у світі наживи.
Поети – дисиденти
гібридного часу.
Справжня поезія встигає
народитись, померти... і воскреснути...
Уже після смерті автора.

Надто довго обирав долю поета,
щоб утратити її передчасно.

Надто безнадійно закохувався,
щоб тепер забути кожне кохання.

Надто довго належав місту,
щоб тепер його зраджувати.

Я намагався писати правдиві вірші,
а писав фантазії
на теми людських почуттів...
Я прагнув кожний свій крок
звіряти з власною совістю,
тоді як запродав її
реаліям безсмертного життя поета,
якого й відкриють для себе
на похороні власного майбутнього
останні представники
класу самогубців...

Отак тікав світ за очі
і згадував батьків та рідне місто.
Напевне, життя поета
не виходить за межі дитинства.
А потім лише кладе
квіти творчості
на його могилу...

МІЙ ЗАПОВІТ

Дітям заповідаю пам'ять.
Друзям заповідаю дружбу.
Коханій заповідаю кохання.
Небу заповідаю мрії.
Людям заповідаю вірші.
А тіло – землі.

Щоправда, впевнений
тільки в одному:
лише земля
ретельно виконає
мій заповіт.

Ирина ГЛЕБОВА

НИКОГДА В ЭТОМ МИРЕ

Повесть

I

Маринка бежала по проспекту. Нет, конечно, она шла, но лёгкая, почти танцующая припрыжка, вскинутая головка девочки, полуулыбка и весёлый блеск глаз, широкий размах загорелых рук – всё вместе создавало впечатление стремительности и даже полёта. Отчего ей было радостно? Да так... Солнце светит, асфальт горячий, и это ощущаешь даже сквозь сандалии, каникулы ещё в самом разгаре...

Ветерок треплет её волосы, наконец-то коротко подстриженные. А ведь до самого конца восьмого класса она носила две туго заплетённые косички, хотя все одноклассницы давно уже были стрижены, а некоторые даже накручивались на бигуди! Правда, учителя стыдили и отправляли домой размачивать кудряшки... Маринка не стеснялась своих косичек, вовсе нет! Ей хотелось обрезать волосы не потому, что это модно. Совсем по другой причине. Так она более походила бы на мальчишку, она ведь с детства жалела, что девочка. И в футбол во дворе играла с пацанами, и в ножичек, и в пристеночек, и по деревьям лазила... Но вот наконец после экзаменов мама разрешила сделать стрижку. И теперь её русые, чуть волнистые волосы так чудесно обвивают лоб!

Ещё никто не говорил этой девочке о том, как она красива. Из глубин веков, беспощадно размываемый кровью завоевателей, пробивался всё же не погубленный, не испоганенный облик славянской красавицы. И в каждом новом поколении, в больших и малых городах Руси, неузнанные до поры до времени растут, ждут своего часа истинные боярышни. Их немного, и дай Бог судьбе быть доброй к ним, потому что за чистым обликом – всегда и чистая душа...

Удлиненный овал лица, чистая кожа – не белая и не смуглая, а матовая и словно подсвеченная изнутри... Прямой аккуратный

нос, губы рисунка нежного и чёткого одновременно... Глаза тёмно-серые... или изумрудные? – на грани этих двух цветов, обрамлённые тёмными ресницами и бровями... Новая завуч, не знающая Маринку с первого класса, остановила её в школьном коридоре и сурово спросила:

– Ты что же это, брови выщипываешь и красишь?

Но увидев в глазах у девочки такое изумление, сама растерялась, сказала:

– Ладно, иди...

Волосы у Маринки были заметно светлее ресниц и бровей, а сейчас уже успели и выгореть на солнце. Она на ходу отвела со лба прядь... Хорошо, что она сделала стрижку. Волосы у неё не ахти какие: тонкие, пушистые, лёгкие. Косички были, как мышьи хвостики. То ли дело коса у Надюши: чёрная, ниже пояса, толстенная – ладонью не обхватишь! Вот при таких волосах можно и косу отращивать.

Маринка как раз торопилась на встречу со своей подружкой Надей. Та уже наверное сидит в читальном зале библиотеки. Надя всегда приходит раньше, говорит Маринке:

– Я люблю здесь читать: тихо, спокойно...

И правда, сейчас, когда ребята разъехались по пионерлагерям, курортам и деревенским бабушкам-дедушкам, днём в читальном зале почти никого не бывает. Маринка и сама любит эту небольшую уютную комнату с двумя рядами столов и книжными стеллажами вдоль стен. Окно распахнуто в тихий сад, воздух свеж и солнечен, а за стеклянной перегородкой – ещё много-много книжных полок. Какое там богатство! Они с Надей часто читают вместе одну книгу. «Последний из могикан» Фенимора Купера, например. Или Майн Рида, или «На графских развалинах» Гайдара. А недавно прочли «Вокруг центральных озёр» Грина. Правда, Надя читает гораздо быстрее. Но она не торопится перевернуть страницу, терпеливо ожидает подружку. Маринка хоть и слывёт среди одноклассников заядлой книжницей, но до Нади ей далеко!

Иногда, не в силах удержаться, тихонько обсуждают самые критические ситуации: так ли нужно было поступить герою? А если бы он сделал по-другому?.. Сидящая за своим столом в конце зала библиотекарьша поглядывает на них, улыбается и молчит. Зал пуст, девочки своим громким шёпотом никому не мешают – пусть

говорят. Маринка знает, что Валентина Григорьевна к ним очень хорошо относится, выделяет их среди других ребят. Особенно Надю. Ещё бы! Таких читателей, как Надя – поискать. Она ведь уже прочла полное собрание сочинений Шекспира – все восемь толстенных томов в чёрном коленкоровом переплёте с золотым тиснением! А ей ведь ещё нет и тринадцати лет!

Да, Надя младше Маринки на два года. Но этой разницы словно и нет. Наоборот, девочка не раз с удивлением думала: какая у неё умная, серьёзная подруга! И весёлая, конечно, ведь им вдвоём так интересно придумывать разные фантастические истории, полные приключений. Но время от времени Надя её просто поражает: скажет что-то такое необычное... «Зло иногда так старательно притворяется добром, что незаметно им и становится...» Ребята, да и взрослые только рты от удивления открывали. Маринка знала, что это не цитаты из книг, а именно Надины мысли. Она слышала однажды, как тренер по шахматам сказал: «У этой девочки философский склад ума».

В шахматном кружке занималась одна Надя, Маринка только забегала к ней туда. Вообще здесь, в детском клубе, чего только не было! Кружки на любой вкус: и швейный, и литературный, и шахматно-шашечный, и музыкальные, и технического творчества... Всех не перечислить. Маринка и Надя вместе занимались в драматическом кружке – собственно, там они и познакомились.

Детский клуб был заводской. На заводе, в механическом цехе, работал шлифовальщиком Маринкин папа, и мама тоже – в бухгалтерии. Потому девочка клуб по-праву считала своим. Однако для ребят никакого ограничения не было – заводские, не заводские... У Нади, например, отец был военным, а мама домохозяйкой.

Сейчас, на каникулах, в клубе было пусто. Все руководители кружков перекочевали за город, в заводской пионерский лагерь. Через день сюда, к клубу, приедут автобусы, привезут ребят первой летней смены и увезут вторую смену. Уедет и Маринка. Хорошо: там она снова встретит Ларису Ивановну, руководителя драмкружка, будут репетировать новый спектакль. А теперь она сдаст в библиотеку книжки, встретится с Надей может быть последний раз перед разлукой – пусть недолгой, но всё же...

В библиотеке девочки не задержались, сдали Валентине Григорьевне книжки и только. Маринка новых не брала, поскольку уезжала. Она думала, что придётся ждать Надю: та подолгу ходила среди книжных полок, выбирая себе чтение. Потому обрадовалась, когда Надя сказала: «Я тоже не беру», – и даже не спросила почему. Они сбежали по витой лесенке со второго этажа, в шахматный клуб. Там всего лишь за одной доской сидел паренёк, передвигал фигуры, заглядывая в книгу – решал задачу. Он мельком глянул, кивнув Наде. Подружки сели подальше от него за доску, расставили фигуры – Маринка белые, Надя чёрные. Недавно Маринке вдруг захотелось научиться этой игре. Ну, не так уж и вдруг – после того, как Надя стала чемпионкой района и заняла второе место на городских соревнованиях школьников. «Нехорошо, что я, её лучшая подруга, совсем не умею играть, даже не знаю, как все фигуры называются», – подумала тогда Маринка. Она не считала, что Наде может стать с ней скучно, нет! Просто показалось такое положение странным.

Однажды Надя ей сказала:

– Ты, Маринка, очень самолюбивая. Это хорошо, это значит, ты многого добьёшься. Я вот не такая.

Ничьи слова так не могли бы заставить Маринку гордиться собой. Но Надя была к себе несправедлива!

– Ты ведь ужасно талантливая, – сказала она тогда подружке. – Как же ты можешь не добиться многого?

– Я не знаю цели, – пожала Надя плечами. – Ты вот хочешь быть артисткой, и обязательно будешь. У нас в драмкружке никого способнее тебя нет.

– Ну да! – Маринка состроила гримаску. – А роль Лисицы всё же дали Лариске Петровой!

Драмкружок репетировал весёлую пьеску «Храбрый Заяц» – о том, как Заяц нашёл ружьё и держал в страхе весь лесной народ, пока не выяснилось, что ружьё не заряжено. Лисица была главной женской ролью.

– Ну и что? – удивилась Надя. – Когда на сцене твоя Зайчиха и её Лисица, все смотрят только на Зайчиху.

Самой Наде поручили совсем второстепенную роль Ёжика, но она была очень довольна. Маринке стало обидно, что Надя так хвалит её, а себя вроде унижает.

– Ты, наверное, станешь известной писательницей, – сказала

она ей.

– Может быть, но я ведь ещё этого не знаю. А пора бы уже...

Передвигать фигуры Надя научила Маринку урока два назад. Теперь же они просто играли. За одну игру Маринка проигрывала раз десять. Почти после каждого хода Надя объясняла ей, почему так делать не стоит, разрешала переигрывать. И даже когда нужно было сказать «мат», Надя предлагала:

– Давай вернёмся на несколько ходов назад.

И всё равно Маринка проигрывала. Понимала, конечно: она всего лишь учится, а Надя чуть ли не лучший в городе игрок. Но всё-таки еле сдерживала закипающее раздражение и даже злость. Наверное, Надя замечала это, потому что каждый раз в самый критический момент говорила:

– Давай закончим, ты уже устала...

Через несколько минут Маринка остывала, ей становилось стыдно, она думала: «Сама ведь навязалась к ней в ученицы!» Но когда садилась за доску следующий раз – всё повторялось. Вот так и сейчас.

Надя не стала брать подставленные неосторожно под удар «коня» и «офицера» (Маринка упорно называла «ладью» «офицером» – ей так больше нравилось). Позволила вернуть обратно несколько плохих ходов. А теперь, когда Маринка двинула было «королеву», придержала её руку:

– Нет, так нельзя, открывается «король» и попадает сразу под удар. А это – «мат».

Наклоняясь над доской, Надя терпеливо водила пальчиком от фигуры к фигуре, а когда вскидывала свои большие тёмные глаза, в них было столько внимания и доброты, как будто она была взрослым человеком, а говорила с маленьким ребёнком. Этот взгляд особенно будоражил Маринку. Ей хотелось ответить резко, обидно.

– Ну и ладно! – почти крикнула она, рывком переставляя «королеву» туда, куда Надя не давала. – Подумаешь, «мат»! Почему я должна сразу сдаваться, если ты заберёшь «короля»? Вон у меня сколько ещё фигур, больше чем у тебя. Давай играть дальше!

Господи, она прекрасно понимала, что несёт чушь! Но не могла сдержаться. А Надя опустила глаза, перебросила косу со спины на грудь, стала наматывать кончик волос на палец. Согласилась тихо:

– Давай поиграем, если хочешь. Но только это будут уже шашки.

Убирая фигуры с доски, Маринка не поднимала глаз, стыдясь себя. Думала покаянно: «И ведь никогда она не обижается». Потом украдкой посмотрела на Надю. Та тут же улыбнулась в ответ, и уже вдвоём смеясь, девочки побежали через боковую дверь в сад. Сад при детском клубе был небольшой: несколько ветвистых яблонь, абрикос, скамейки под ними и цветочная клумба, где вечерами раскрывались и чудесно пахли маттиолы.

– Ты когда уезжаешь? – спросила Надя.

– Послезавтра. Приедешь ко мне в воскресенье с моими родителями?

– Нет. – Надя вдруг взяла Маринку за руку. – Я тоже уезжаю.

– Правда? Но ты говорила... А куда?

Надя говорила Маринке, что никуда не может поехать – ни в пионерлагерь, ни в санаторий, потому что её отец ждёт нового назначения и не знает: останется ли на месте или со всей семьёй уедет, куда пошлют.

– Ещё не знаем куда, но сначала в Москву. Папу уже вызвали в министерство. А оттуда – сразу на новое место службы.

«Кочевая офицерская семья» – так говорила Надя. Она рассказывала, что за свою жизнь уже сменила пять городов, и каждый раз – новая школа, новые учителя, подруги... Маринке стало так грустно.

– Когда же вы уедете? – спросила она.

– Через три дня, билеты уже взяли.

– Так что же это? – Маринка вдруг по-настоящему поняла, что происходит. – Я вернусь, а тебя уже не будет? Но ты мне напишешь, я тебе отвечу, а когда вырастем, приедем друг к другу в гости!

– Я напишу, конечно, – сказала Надя. – Но только знаешь, Мариша, как странно... Мне кажется, мы с тобой больше никогда не увидимся.

Она смотрела на подругу, и Маринка вновь, в который раз удивилась: до чего же тёмные глаза у Нади – «как чернослив», сказала однажды мама.

– Ну вот, глупости! – Маринка пожала плечами. – Почему же не увидимся. Я вот в прошлом году сама ездила к бабушке, на поезде к Азовскому морю.

– Я чувствую: в этом мире мы с тобой больше не встретимся.

– Ты говоришь, как заклинательница какая-то. И при чём здесь

«этот мир»? А какой ещё есть? Ты что – верующая?

– Ты зря сердишься на меня. – Улыбка у Нади была грустная. – Конечно, я не верю в Бога. Я же пионерка. Да и как можно!

И вправду, смешно было верить в какого-то Бога, если уже и Юрий Гагарин, и Герман Титов облетели на ракетах Землю. А совсем недавно Алексей Леонов выходил в открытый космос! Но слова этой странной черноглазой девочки и особенно её интонация были так необычны! От этой тревожной необъяснимости хотелось оттолкнуться, что-то придумать...

– Ты разыгрываешь меня? Это какая-то игра? Фантастика?

В голосе у Марины была и просьба, и надежда. Но Надя вздохнула огорчённо.

– Нет, – сказала она. – Я так чувствую, а объяснить не могу. Знаешь, во мне есть немного цыганской крови. Может быть, поэтому...

Маринка вспомнила Надиного папу. Высокий, смуглый и весёлый, он ей очень нравился, казался красивым. Чёрные его волосы вились так же, как и у Нади, большие глаза сверкали, как и у дочки. Китель с крупными майорскими погонами ладно облегал тяжеловатую, но подвижную фигуру. «Точно, – подумала девочка. – Он похож на цыгана». Впрочем, она знала, что Надин отец родом из Молдавии, а про них так ведь и говорят: цыгане-молдаване...

Через день, рано утром, Маринка теперь уже по-настоящему бежала по тому же проспекту, а рядом тоже почти бежали папа и мама. Отец нёс дерматиновую сумку с вещами, мама – сетку с продуктами. Когда они выходили из дома, мама всё ещё сердилась:

– Вечно ты опаздываешь! Почему всё нужно делать в последнюю минуту?

Она, конечно, была права. Маринка и сама себя ругала. Ну почему она не послушалась, не собрала вещи для лагеря заранее! А лишь вчера вечером побросала всё в сумку. И, конечно, многое забыла. Утром, уже одеваясь, вспомнила и про панамку, и про карандаши, и про зубную щётку... Теперь вот опаздывает, торопится так, что жарко даже в лёгких спортивных шароварах и футболке без рукавов! Издалека видно, что два автобуса от Детского клуба уже отъехали, а третий призывно и сердито сигналиит!

Только и успела Маринка запрыгнуть в автобус, подхватить

сумки, наклониться уже из двери, чтобы поцеловать маму и папу, как водитель тронул с места. Он разворачивал машину, и только сейчас девочка увидела на пригорке, чуть в стороне, свою подружку. Надя глядела, приставив ладошку ко лбу, заслоняясь от слепящего утреннего солнца. Маринка бросилась к приоткрытому окошку, надавила раму сильно вниз, высунула голову. Надя увидела, замахала рукой. Губы её шевелились...

Позавчера, в свою последнюю встречу, они были вместе ещё долго, дотемна. Но к непонятному и странному разговору не возвращались. Маринка даже забыла о нём. А вот теперь ей вдруг показалось, что Надя шепчет: «Никогда в этом мире...»

II

Фары, слепящие фары были прямо в глаза. Марина отворачивалась от них, но они вновь оказывались прямо перед ней – жёлтые, огромные. И вдруг она поняла: машина приближается – медленно, но неотвратно. И почему-то ясно, что от неё не убежать. Фары уже выжигают глаза... И за миг до пробуждения Марина догадалась: «Это же сон, Господи! Можно не бояться и не убежать». И сейчас же проснулась.

Конечно, в глаза, сквозь широкую щель опущенных штор, било яркое солнце. Вот откуда этот нелепый сон! Девушка потянулась сладостно, облегчённо, но вдруг ойкнула. Солнце так высоко – сколько же времени? Боже, проспала! Вся группа уже давно на съёмочной площадке, а главная героиня ещё в постели!

Она вскочила, нащупывая ногами шлёпанцы, но тут у неё закружилась голова и пришлось снова сесть на кровать. Ну вот, дождалась – первое головокружение! Теперь ещё начнутся токсикозы по утрам. В группе пока никто не знает, что она беременна. Обнаружится ли это до конца съёмок? Впрочем, разоблачение Марину не пугало – по счастливому совпадению, её героиня тоже ожидала ребёнка, правда, второго и от своего мужа. У Марины же, в её двадцать пять лет, это была первая беременность, и отец будущего ребёнка пока что не был ей мужем. Пока! Она верила, что скоро все их проблемы решатся. Георгий по-настоящему любит её!

Год назад она попала в компанию, где встретила этого человека. Актриса из её театра позвала Марину на вечеринку к своим друзьям.

– Простецкая богема, – сказала она, словно подозревая, что Марина стесняется.

А та и в самом деле всё ещё чувствовала себя провинциалкой, хотя уже снялась в двух лентах на «Мосфильме» – не самые главные, но заметные роли. Подруга продолжала:

– Хозяин дома – писатель-фантаст, не такой известный, как Стругацкие, но он ещё молод. Большой оригинал: аскет, йог, «морж», самородок-самоучка – восемь классов официального образования, а за пояс заткнёт доктора наук почти в любой отрасли. Свободно владеет несколькими языками... Что ещё? Да! Красавец-мужчина, а жена – на пятнадцать лет его старше. Георгий Кирилин – может, слыхала?

С удивлением Марина вспомнила – да, попадалась ей книга фантастических повестей Кирилина. Они запомнились, потому что автор не пытался подражать зарубежным фантастам, отталкивался от родной истории, находя интересные повороты и аналогии.

Это была большая московская квартира в центре, почти на Садовом кольце. Дверь нараспашку, на лестничной площадке весёлая компания курильщиков, девушкам приветливо помахали рукой – заходите! Они прошли по длинному коридору мимо двух дверей – отовсюду голоса, смех, – зашли в гостиную. На диване, в кресле, на полу на пуфиках сидели люди, непринуждённо, кто с бокалом в руках, кто с журналом, кто с картами. Из кресла навстречу поднялся высокий парень – Марине показалось, её ровесник, – шагнул навстречу:

– Татьяна! Молодец, что пришла!

Но смотрел он на Марину, открыто, неотрывно, чуть улыбаясь. У него был красивый лоб в благородном обрамлении густых, тёмных, крупными кольцами волос. Глаза светились таинственным, но ясным и добрым огнём.

– Моя подруга Марина, актриса нашего театра, – Татьяна чуть подтолкнула девушку в спину, и та очутилась совсем лицом к лицу с хозяином дома.

– А-а, Леночка из «Бежинских русалок»! – вспомнил кто-то последний фильм Марины. Кругом радостно загалдели, а она и Георгий стояли, не отрывая друг от друга глаз. Но тут в комнату, видимо из кухни, влетела женщина с тарелками на подносе, бухнула свою ношу на стол, посмотрела на застывшую пару и

вдруг воскликнула:

– Гошка, ведь это же твоя княжна! Поразительно! Нет, ты погляди – как будто с твоих страниц сошла!

Словно он и так не смотрел, не отрываясь.

Марина помнила, в двух или трёх повестях Кирилина появлялись княжны из далёкого прошлого, в которых влюблялись герои из настоящего или даже будущего.

Их волшебное оцепенение нарушилось. Хотя и длилось-то оно, видимо, несколько секунд, никто и не заметил, только для них двоих время тянулось бесконечно долго. Георгий улыбнулся громкоголосой женщине, притянул её к себе за плечи, сказал Марине:

– Хозяйка дома, моя жена Лиля.

Но нет, Марина ошиблась, подумав, что после этой фразы кончилось волшебство. Оно вернулось буквально через минуту. Весь этот вечер их глаза – её и Гоши, – находили друг друга. Поворачиваясь, она обязательно встречала его удивлённо-нежный взгляд. И сама, ещё не понимая, в чём дело, почти неосознанно постоянно искала его глазами. Он как будто не отличал её из других гостей, не оказывал особого внимания, но всегда находился рядом, близко.

Три дня Марина ждала Георгия: она знала, он обязательно придёт! Её адрес ему известен: при нём кто-то из гостей спросил, где она живёт, и девушка ответила:

– У меня комната в актёрском общежитии. Да, там – на Болотниковском переулке...

Но он не шёл, и в конце третьего дня, засыпая, девушка думала, приходя в себя, как после горячки: «С чего это я, Господи, размечталась...» Во сне она плакала, но проснувшись об этом не помнила. Она никуда не торопилась: спектакль был накатанный, игрался каждый вечер, репетиций не проводилось. Марина бежала из общей кухни, неся горячий кофейник, глядя под ноги, и у самой своей комнаты наткнулась на Георгия. Он молча распахнул перед ней дверь, в комнате молча взял из её рук кофейник, поставил на стол. Ни слова не говоря, лишь глядя неотрывно в глаза, притянул к себе. Марина тут же прижалась лбом к его высокому плечу, ощутила у себя на виске его губы и в тот же миг поняла: всё кончилось и всё начинается. Вся жизнь.

Гоша сказал ей, что узнал её сразу, с первого взгляда – ту, о ком

неосознанно мечтал, описывал в своих фантазиях. Но три дня он пытался с собой бороться, разубеждал, высмеивал... Ради Лили: тяжело обидеть её, оставить, оскорбить... Но понял, что бесполезно, и пришёл. Навсегда.

Так он сказал ей, но ещё долго тянулся «подготовительный период» его разрыва с женой. Они уже были вместе, Марина чувствовала себя счастливой, но моментами, когда особенно тяжело ложилось на сердце слово «любовница», думала горько: «Какие же мужчины трусы, даже самые лучшие из них! Он боится обидеть Лилю! А меня, разве меня он не обижает и не унижает?..»

Но однажды к ней пришла сама Лилия. Села рядом на диване, посмотрела печально, а потом обняла.

– Господи, да какая я ему жена! – воскликнула, махнув рукой. – В матери гожусь!

У неё были толстые губы и нос картошкой, жёлтые крашенные волосы с пробившейся сединой у корней, мешки под глазами, полная, оплывшая фигура. Она рассказала, что Георгий, встретив её, одинокую, брошенную, не имеющую сил жить после смерти сына-подростка, пожалел, пригрел, увёл к себе, а чтобы закрыть рты досужим болтунам, женился. Рядом с ним она узнала столько интересного, ощутила сладость человеческого общения и дружбы, возродилась.

– Три года мы вместе. А ведь он красив, умён, обаятелен. Да что я тебе говорю! Сколько девчонок за ним убивалось! А он словно и не знает ни о красоте своей, ни о вздохах вокруг. Очень цельный человек. Но я всегда знала – когда-то где-то прорвёт. И сказала себе: придёт время – сама уйдёшь с его пути. Мне ведь сорок пять, а ему тридцать три, возраст Христа. Только и творить, жить, любить... А ты, деточка, ему ребёнка родишь...

Вот этого ребёнка совсем недавно Марина и ощутила в себе, со страхом и радостью. Вскоре после разговора с Лилей она получила предложение сыграть главную роль в новом фильме. И уехала на съёмки в Ленинград, ещё не зная, что беременна. Гоша обещал к её возвращению закончить бракоразводные дела.

Вспоминая всё это, Марина быстро шла по улице. От гостиницы до квартала, переделанного для съёмки в довоенный, было недалеко. Часть материала уже отсняли, сегодня – домашняя сцена. Как хорошо, что её пригласили играть главную героиню! Ей очень нравился сценарий, представлялось, что фильм

получится замечательный. Дело происходит в конце весны 41-го года – за месяц до войны. Но герои этого не знают, и война в фильме не начнётся. Просто зрители, глядя фильм, с горечью будут понимать, что все надежды и ожидания героев скоро перечеркнутся, и перечеркнутся страшно – смертельной блокадой Ленинграда, ведь события происходят именно в этом городе.

Нина – так зовут героиню Марины. Она жена молодого, но уже известного учёного, работающего на оборону. По намёкам и недомолвкам можно понять, что он связан с разработкой ракет. Фильм начинается с того, что этот учёный, муж Нины, бесследно исчезает. Несколько дней о нём семье ничего не известно. Оборонный институт засекречен, Нина никогда и не знала, где он находится – за мужем приезжала машина, машина же привозила его домой. В милиции молодой женщине отвечают уклончиво, городские власти тоже не дают ответа: «Ждите...» Может быть, институт и его сотрудников на время засекретили полностью для выполнения особого государственного задания? Хочется в это верить. Но ведь существует и другое: люди бесследно исчезают в кабинетах НКВД и объявляются, если вообще объявляются, в лагерях с клеймом «враг народа». Нина, у которой есть маленькая двухлетняя дочь и которая ждёт второго ребёнка, живёт в состоянии страха, напряжения, надежды. Рядом с ней – младшие сестра и брат её мужа: они рано осиротели, и Сергей их растил сам. Вокруг этой маленькой, зажатой бедою семьи разворачиваются интриги – подозрения друзей, стяжательство соседей. Но семья сплачивается в тревожном ожидании. И всё это – за месяц до войны.

Такой был сюжет фильма. Тайна исчезновения учёного так и не разрешалась – зрители были вольны думать что угодно. Да это и не было главным для сценариста. Отношения между людьми, атмосфера предвоенного лета, когда над поющей, расцветающей и счастливой страной витает чёрный ворон страха, раскинув два жутких крыла: одно – неумолимое, карающее НКВД, и второе – громыхающие по Европе, всё ближе и ближе к границам, фашистские танки...

Марине очень нравилась её роль. Характерная, на тонких психологических нюансах, на настроении. И у неё хорошо получается. Вот сегодня интересная сцена будет сниматься. Надо

поторопиться, нехорошо подводить людей.

Она уже свернула в «свой квартал». Это была маленькая частица города – улица, сквер и несколько домов, декорированных специально для съёмки фильма: под сороковой год. Здесь стоял на рельсах допотопный трамвай. Сейчас он был неподвижен, но вообще-то – на ходу, ездил, дребезжа и звеня на остановках. Марина уже снималась в нём: стояла на задней площадке с младшим братом своего мужа, пионером Толиком. Толик грозил кулаком мальчишке, запрыгнувшему на ходу на «колбасу», смеялся, а она – Нина, – смотрела на него с грустной улыбкой, и зритель должен был прочесть во взоре: «Ах, как легко мальчишки забывают неприятности! Мне бы так...»

Над магазином сняли неоновую вывеску, повесили простую: «Продмаг», в скверике заменили скамейки, установили тележку под зонтиком с двумя краниками – простая газировка и вода с сиропом... Когда наступало время съёмки, улицы заполняли статисты: девочки с косичками и в платьях «солнцеклэш», мальчики в сандалиях, вельветовых курточках, штанишках-галифе до колен, взрослые люди, одетые по моде сороковых.

Сама Марина, выходя из гостиницы, оделась уже сразу так, как нужно для фильма. Крепдешиновое платье в крупный цветной горох чудесно обхватывало её гибкую талию, лёгкими волнами плескалось ниже колен. Фонарики рукавов, волан на треугольном вырезе, подставные плечики, большие пуговицы, поясok... На ногах ладно сидели замшевые туфельки – носок не такой узкий, как носят нынче, каблук высокий, но тоже не такой тонкий. А всё же, в ансамбле с платьем, эти туфельки смотрелись великолепно. Да ещё причёска: ровно подстриженные до плеч волосы, лёгкий перманент, открытый лоб, приподнятые заколками у висков пряди... Марина сама себе очень нравилась в этом наряде. Ей смотрели во след, и она понимала, что воспринимается ленинградцами, как ретро-девушка – последний крик моды.

Круглые часы на столбе у входа в сквер показывали четверть десятого! Марина ускорила шаги, почти побежала. Уже виден дом, во дворе которого – подъезд с «их квартирой». Андрей Степанович, режиссёр, увидит, как она запыхалась, торопясь, не станет слишком сердиться... И тут, на бегу, она споткнулась. По инерции три шага пролетела вперёд, нелепо взмахнув руками,

вскрикнула, задохнувшись, и упала. Со всего размаху, сильно...

Когда Марина очнулась, возле неё сустились люди. Кто-то приподнимал её за плечи, кто-то совел в лицо пузырьёк со жгуче-противным запахом. «Нашатырь...» – была её первая вялая догадка. И тут же она поняла: «Я, наверное, потеряла сознание... Ребёнок!» Она испуганно схватилась за живот и с облегчением почувствовала, что боли нет. А вот голова болела и кружилась.

– Барышня, – говорил ей старичок в старомодной летней шляпе с ленточкой и в белом полотняном пиджаке. – Что это вы, милая, так неосторожно.

– Карету скорой помощи надо вызвать, – авторитетно заявлял мальчик в пионерском галстуке с зажимом: такие носили давно, до войны.

«Господи, – испугалась Марина, – уже пошли статисты! Съёмка началась, а я тут!» Она окончательно пришла в себя, быстро поднялась на ноги. И сейчас же всё поплыло в глазах, закачалось. Она бы опять упала, но девушка в похожем на её платье, только ситцевом, попроще, поддержала её и тревожно спросила:

– Вы где живёте? Давайте, я вас провожу.

«Что это они, – опять подумала Марина. – Ведь все меня знают. Может, новенькие?»

Она, конечно, не помнила всех статистов, но многие лица примелькались. А эти, стоящие вокруг, были все незнакомы.

– Вон милиционер! – закричал мальчик. – Давайте позову?

По другой стороне улицы ехал конный милиционер в белом кителе и синей фуражке. От удивления у Марины перестала кружиться голова. Конной милиции в фильме не было, на лошадей не хватало средств. Но, может быть, уже нашлись?

Из-за угла вынырнул, грохоча, старинный трамвайчик, резво прокатил по улице и скрылся за другим углом. Донёсся звонок – там, наверное, была остановка.

– Спасибо вам всем большое, – сказала Марина окружающим её людям. – Всё уже прошло, я хорошо себя чувствую. Извините, спешу.

И она пошла дальше, к близкому «своему» дому. Бежать не осмеливалась, но шла быстро. Шла и чувствовала, что не может глубоко вдохнуть. Что-то было не так, что-то вокруг... Вдруг Марина стала, словно вновь споткнулась. Трамвай! Он никогда не ехал дальше угла. Там был тупик, водитель переходил в другой

конец вагона, в такую же кабину, и катил обратно по улице, вновь упираясь в тупик. Но она только что сама слышала, как зазвенел звонок на остановке, а потом трамвай загремел, удаляясь... Куда?

Девушка тряхнула головой: вперёд, сейчас Андрей Степанович всё объяснит. Она пересекла двор, хлопнула дверью подъезда, и каблучки её застучали по лестнице на второй этаж.

III

Дверь квартиры была закрыта. И не просто закрыта – заперта. Но Марине уже некогда было удивляться, она несколько раз быстро дёрнула за шнурок с шариком на конце. Раздался мелодичный звон, потом, после некоторой тишины – осторожные шаги и девичий голос:

– Кто там?

– Это я, я, открывайте!

Марина лёгким движением поправила причёску, платье. Дверь слегка приоткрылась, потом сильнее. Черноглазая девушка отступила, пропуская её.

– Нина! Наконец-то! Мы уже волновались.

Молодая актриса Леночка Буршева играла роль сестры пропавшего героя – студентку Тамару. Она и раньше часто называла Марину именем её героини – входила в образ. Марина подыграла ей:

– Мне, Томочка, стало плохо на улице, голова закружилась... А где Андрей Степанович?

– Андрей Степанович? – Тамара смотрела на неё удивлённо.

Только сейчас Марина увидела, что комната выглядит необычайно пусто. То есть, вся мебель на месте: кожаный диван, накрытый ковриком, круглый стол на толстых ножках, большой буфет со множеством резных дверец и ящичков, этажерка с книгами... Не стояли по углам переносные юпитеры, камеры, микрофоны, не тянулись к ним из окна, от съёмочного автобуса, провода и кабели. Да и самого автобуса – Марина подбежала к окну и глянула вниз, – не было.

– О ком ты говоришь, Нина?

Она оглянулась. Черноглазая девушка следила за её передвижениями со странным выражением лица: словно не понимала и тревожилась.

– Но где же все наши? Я думала, что опоздала. Съёмку

отменили?

– Нина! – Тамара подошла вплотную, ловко взяла запястье левой руки, профессионально стала слушать пульс. – Ниночка, ты не падала? С твоей беременностью всё в порядке?

Зачем Леночка так старается, словно на репетиции? О какой беременности она спрашивает – о той, что по фильму, или о настоящей? Нет, об этом никто ещё не знает.

Вдруг из соседней комнаты выглянул мальчик лет двенадцати. «Толик».

– Нин, – сказал он. – Ты чего такая? Тебя опять кто-то обидел? Машку в ясли не приняли, или что?

– Машенька в яслях, видишь, Нина одна вернулась, – ответила ему Тамара. – Нине плохо стало на улице.

Марина села на диван.

– Ребята, – она переводила взгляд с одного на другого. – Вы меня разыгрываете?

Девушка и мальчик переглянулись. Мальчик приблизился, положил ладошку тыльной стороной ей ко лбу, обернулся к сестре:

– У неё жар?

Наверное, у меня и правда жар, думала Марина. У мальчика, стоящего перед ней, были карие глаза. А она прекрасно помнила, что у Миши Полозова, играющего роль Толика, светло-серые, почти голубые глаза. Заменяли другим актёром? Но зачем? Ведь уже отснято много эпизодов с Толиком! Да и лицо то же, только глаза... Она перевела взгляд на Тамару. Господи, и это тоже не Леночка! Очень похожа, но не она. Кожа смуглее, рост немного ниже, две толстые косы уложены красивым венком. Положим, причёску можно изменить, но волосы – они темнее, гуще... Спасительная догадка озарила Марину.

– Простите, – сказала она. – Я наверное ошиблась, попала не туда.

Она хотела встать, но твёрдая рука девушки сжала ей плечо, удержала.

– Ты и вправду больна, у тебя бред, надо вызвать врача. Толик!

– А-а? – Мальчишка стоял уже у окна, перевесившись через подоконник. – Томка, там почтальон газеты разносит. Я мигом! А вдруг письмо...

Он промчался мимо, хлопнул дверью, и слышно было, как чуть ли не кубарем катится по лестнице во двор.

– Не надо врача, ерунда какая-то! – Марина отвела её руку. – Вы скажите мне, чья это квартира?

Девушка опустилась с ней рядом на диван, сказала негромко, но чётко:

– Это квартира твоего мужа, Сергея Рогожина. И моя. И Толика. И вашей дочки Машеньки... Нина, ну приди же ты в себя!

Тут опять отворилась дверь. Мальчик вошёл не так шумно, как уходил, видно было, что он разочарован.

– Нет никакого письма. Вот, только газета.

Он бросил листок на колени сестре. Марина машинально глянула. Название «Правда» выглядело тоже странно, непривычно, чего-то не хватало. В каком-то оцепенении она протянула руку, взяла газету. Та была новенькая, пахла типографской краской. На первой странице фотография: серьёзный усатый Сталин в окружении каких-то широко улыбающихся мужчин. И в рамочке, рядом с названием газеты, дата: «28 мая 1941 год».

Всё, всё, что происходило сейчас, было неправдой, какой-то затянувшейся игрой. Она не могла понять, зачем вокруг неё это разыгрывается, кому это нужно? Но ведь она в здравом рассудке и не может принять то, что ей навязывают, за чистую монету!

Ей становилось страшно. В глубоком, потаённом уголке мозга уже родился этот страх, а значит родилась и вера, питавшая его. Не может быть это правдой! Но тогда что? Как объяснить?

Марина вскочила с дивана, быстро пошла к двери. Хватит! Она возвращается в гостиницу, и пусть Андрей Степанович сам идёт к ней и объясняется.

– Ты куда, Нина? – тревожно спросила странная девушка... Тамара?

Она могла бы не отвечать этим комедиантам, но почему-то сказала:

– Пройдусь...

У выхода со двора на улицу остановилась, оглядываясь. Светило яркое, совсем летнее солнце. Рано утром, наверное, шёл дождь, но сейчас остатки луж высыхали прямо на глазах. Было тепло, мужчины шли в одних рубашках, часто – с коротким рукавом, немного странного, старомодного покроя. На многих были полотняные туфли, белые. «Их чистят зубным порошком, – вдруг вспомнила девушка. – Такие носили до войны, они

называются парусиновые!»

Сердце заныло. Мимо проехала машина: такую только в старом фильме можно увидеть. Она свернула за угол, туда, куда уходили и трамвайные рельсы. Марина решительно направилась в ту сторону. «Там тупик, там тупик», – упрямо повторяла она и даже зажмурила глаза, ступив за угол. Но это не помогло. За поворотом бутафорский квартал не кончался, как должен был бы, не было тупика и для трамвая. Наоборот: рельсы бежали по широкой прямой улице, справа стояли дома, много магазинов с простыми вывесками, допотопными и оттого забавными манекенами в витринах, а в каких-то «КООПТОРГАХ» и «МАГАЗИНАХ ОРСа» – банки с весовой красной и чёрной икрой, осетрина...

Девушка смотрела во все глаза. Слева, разделяя островом проезжую часть, тянулся сквер с небольшими тенистыми деревьями, скамейками, клумбами. Марина от домов перешла сюда – машинально, не задумываясь. Ей хотелось уйти от этой непонятной, необъяснимой реальности. В сквере людей было мало, в основном гуляли с детьми. Вон молодая девчонка – в платочке, мешковатом платье, щекастая, с косой, явно сельского вида. При ней малыш лет трёх с совком и ведёрком. А вот со странной, какой-то плетёной коляской немолодая женщина в вычурной шляпке, с поджатыми, ярко накрашенными губами. «Няни» – сразу определила Марина, и это тоже было необычно. В её время детишек выгуливали мамы или бабушки.

Она поймала себя на том, что сказала мысленно: «в моё время». Словно согласилась с тем, что это – время другое. Как же это? В растерянности и испуге она оглянулась. Сзади, на небольшом расстоянии, за ней шёл тот самый мальчик – Толик. Он не прятался, даже кивнул ей, но не подошёл. Идёт от самого дома, поняла она, Тамара послала, беспокоится... И опять же, подумала об этом так, как будто примирилась.

В какой-то момент Толик обогнал её, остановился у тележки мороженщика. Пожилой весёлый мужчина в белом фартуке, ловко орудуя невиданными ложкою и щипцами, выдал ему порцию – бело-коричневый шарик, зажатый двумя кружочками вафель. Подождав пока Марина пройдёт мимо, он вновь пристроился сзади. Пройдя немного, она остановилась. Он тоже стал, спокойно, с наслаждением облизывая мороженое.

– Пойди сюда... Толик, – позвала она. Мальчик подошёл. – Не

ходи за мной, ладно? Я... скоро вернусь.

– Ну хорошо, – Толик сунул в рот последний кусочек мороженого с вафлей. – С тобой всё нормально? Хочешь, я вечером сам Машку из ясель заберу?

Она улыбнулась.

– Да... И знаешь, что... Если тебе не трудно, купи мне мороженое.

Ей было неловко, но очень хотелось. Казалось, у неё жар, а мороженое охладит. И потом: оно такое необычное! Вот съест она его и... что-то поймёт? Сумочку, с которой она шла на съёмку, Марина оставила там, в квартире, да и денег там не было – как раз сегодня артистам намеревались выдать зарплату...

Толик позвенел в кармане монетами, демонстрируя свою кредитоспособность:

– Будет сделано!

И рванулся к тележке. Но она на минуту придержала его:

– Постой, покажи деньги.

Он высыпал ей на ладонь горсть монет – медных и серебряных. Вид их был ей совсем не знаком: даже в её детстве, до хрущёвской реформы, они выглядели по-другому. На этих монетах – ни на одной! – не было года старше 1939-го.

Опять закружилась голова. Пока она присела на скамейку, приходя в себя, мальчик обернулся с мороженым.

– Спасибо. – Марина не хотела есть при нём. – Ты иди. Я не долго...

Мороженое оказалось очень вкусным. Хотя и совсем обычным. Вот только форма... До сих пор девушка обрывала любую, начинавшую оформляться во что-то цельное мысль. Она боялась думать. Теперь же, откинувшись на спинку скамьи, внимательно глядя вокруг, Марина наконец попыталась понять: что же происходит? Не может быть, чтобы весь город стал декорацией, а это множество людей вокруг – статисты. Абсурд! Значит, она оказалась в другом времени?

Её Гоша – писатель-фантаст. И он не просто пишет, он великолепно разбирается в истории жанра, во всех его направлениях, течениях, поворотах. Ещё до встречи с ним она любила фантастику, читала. Даже он, эрудит, иногда восхищался: бывало, скажет фразу из Стругацких или Шекли, а она – продолжит. «Ты чудо, Мариша! Девушки обычно этим не

интересуются!» Наверное, потому он охотно говорил с ней о фантастике, как о повседневности нашей жизни. За год рядом с Гошей она настолько сжилась с этой мыслью, что сейчас ей гораздо проще было думать о переброске во времени, чем о том, например, что она всё ещё спит в гостинице и видит сон. Чтобы с ней ни произошло, но всё вокруг – это реальность, в не сновидения, Марина это чётко сознавала.

А что, всё-таки, с ней произошло? Проснулась в гостинице, шла, торопясь, на съёмку... До этого всё было обычно: улицы, машины, люди своего родного семьдесят пятого года. Потом она повернула в квартал-декорацию и почти сразу споткнулась, упала. Сильно ударилась. Не тут ли разгадка? Человеческий мозг – тайна из тайн. Что в нём сдвинулось от толчка, что перепуталось? Почему время потекло иначе? Почему она оказалась не просто в прошлом, а в том, к которому привыкла последние два месяца, с которым сжилась, о котором постоянно думала? И место её в этом мире – то, к которому она готова: Нина Рогожина, молодая жена учёного-физика, мать девочки Маши и будущего второго ребёнка. И, что самое поразительное, этот ребёнок и вправду живёт в ней. И родится он теперь... да, в феврале 1942 года.

Марина произнесла мысленно эту дату и не удержалась, вскрикнула, прижав ладони к губам. Война! Через месяц, даже меньше, начнётся война! А они – в Ленинграде. В городе, который будет окружён буквально в первые же недели, и жители которого обречены на страдания, мучения, смерть... Марина представила бесконечные могилы Пискарёвского кладбища, тетрадные листики в неровных строчках из крупных детских букв: «Умерли все...» Дневник Тани Савичевой... Блокада. Переживут ли её черноглазая Тамара и беспечный Толик, и девочка Маша, которая, как это ни странно, её дочка? А главное – тот малыш, что уже живёт в ней, Гошин ребёнок! Вряд ли. Но ведь она знает будущее, наверное, во всём этом мире – она единственная его знает. Не в этом ли смысл её появления здесь – спасти хотя бы этих, близких ей людей?

Солнце, поднявшись уже в зенит, грело так тепло, ясно. Девушка сжала ладонями виски. Она как будто уже согласилась, приняла новую реальность, но разум со стоном отвергал её. Гоша! Неужели они никогда не увидятся! И он не узнает об их ребёнке? А эти люди – они обречены на гибель и спасения нет? Куда ей

пойти со своим знанием? Кто ей поверит! Примут за сумасшедшую или, того хуже, за немецкую шпионку, сеющую панику. Ведь это же время культа личности Сталина. В своём мире Марина не всегда соглашалась с хулителями и проклинателями этого человека. Но сейчас – другое дело. Она не станет рисковать, нет! Погибнет сама и погубит тех, кто рядом. А ей надо наоборот – спасти их, любой ценой!..

Когда она возвращалась «домой», ей пришла в голову ещё одна мысль: а вдруг она попала в прошлое не своего, а одного из параллельных миров? Идея об их существовании и раньше не казалась ей слишком фантастической. А уж теперь и подавно. Если так, то события могут протекать по-иному: другие сроки войны, а, может, она вообще не начнётся.

Тамару она увидела сразу же, войдя во двор, на балконе второго этажа. Заставила себя поднять руку, махнуть ей, вымучено улыбаясь. Девушка тут же улыбнулась в ответ, скрылась в комнате. Когда Марина поднялась по лестнице, дверь квартиры была уже открыта, Тамара её встречала.

– Погуляла? Ну и хорошо.

Девушка достала из-под вешалки тапочки, подвинула их Марине. Та сразу почувствовала, как устали ноги в туфлях на каблуке. Она с удовольствием сбросила их и прошла в комнату, радуясь шелковистому меху тапочек. Они были ей совершенно по ноге.

– Толик приносил газету, где она?

– Да вот, на столе.

– И ещё... Тамара, дай мне несколько последних газет.

– Нина, они там, где и всегда. Ты забыла? На этажерке.

Чёрные глаза девушки смотрели на неё внимательно.

– Ах, да, – Марина уже увидела аккуратную стопку на нижней полке. А Тамара покачала головой:

– Нет, ты всё-таки упала на улице, сознайся? Не случилось ли у тебя сотрясения мозга!

Это была хорошая подсказка, и Марина ухватила за неё.

– Да, я и вправду ударилась. Но ты не беспокойся, всё пройдёт.

– Ладно, отдыхай. Я обед сама приготовлю. Толик скоро прибежит, есть запросит.

Тамара ушла на кухню. Марина взяла несколько верхних газет из стопки, сегодняшнюю, и села в кресле у окна. Через некоторое

время она поняла: события в этом мире идут так, как известно ей по урокам истории. Гитлер уже прибрал к рукам Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию... Молотов и Риббентроп подписали Пакт о ненападении. Бомбится Лондон. В Америке – президент Рузвельт. К Советскому Союзу не так давно присоединены Западная Украина и Белоруссия, Литва и Латвия... Берия – нарком внутренних дел. Портреты Сталина и ссылки на его цитаты – в каждой газете. Да, это её мир, только отступивший на 34 года назад. И значит, у неё совсем мало времени, меньше месяца!

В дверь позвонили. «Толик, наверное», – подумала Марина, слыша, как по коридору легко пробежала Тамара. Потом она заглянула в комнату:

– Нина, это Людмила Ивановна пришла. – И, увидев растерянное её лицо, добавила, словно объясняя: – Ну, Люся...

И сейчас же в комнату почти вбежала молодая женщина – шумная, крепко сбитая, в юбке и жакете, с густо завитыми короткими волосами.

– Нинуся! – Она пылко обняла её, оставив на щеке след губной помады, и сама же быстро его стёрла. – Ты что такая бледная? Нездоровится?

Не ожидая ответа, притянула Марину к дивану, усадила рядом.

– Я тебе сейчас расскажу о педсовете, только ты не расстраивайся, всё не так страшно!

– Каком педсовете?

– А, удивлена! – Люся, казалось, была довольна её реакцией. – Да, директриса наша тебя не стала извещать. Рогожина, мол, в отпуске, не стоит её беспокоить. Лицемерка! Речь-то шла как раз о тебе.

«Я, наверное, учительница, – догадалась Марина. – Что же я преподаю?»

Она уже поняла, что её нынешняя действительность хотя и совпадает со сценарием фильма, но кое в чём и разнится. Там, в фильме, она не работала, сидела дома с маленькой дочкой. А Люся продолжала горячо, но почти полушёпотом.

– Наша Биссектриса заявила: «Мы должны хорошенько подумать, можем ли мы доверить воспитание младших школьников человеку, в чьей семье такие сомнительные

обстоятельства!» Ты же знаешь, как она умеет завернуть фразочку, чтобы не сказать ничего конкретного, но дать понять... И все, конечно, поняли! Сидят наши мышки, глазки опустили, головки в плечики вжали. Только географ – умница! – делает вид, что совсем дурачок, спрашивает: «Что вы имеете ввиду, Алевтина Тихоновна?» Та аж подскочила: «Вечно вам всё разжёвывать надо!» А он своё гнёт: «Но я не понял, чем Нина Николаевна не хороша?» Тут на помощь ей тяжёлая артиллерия пришла – завуч. Очки свои совиные поправила, телеса из кресла с трудом подняла и разъясняет: «Товарищи! Вы все знаете, что муж педагога Рогожиной исчез и вот уже несколько дней о нём ничего не известно. А у нас, как известно, люди без причины не исчезают. Без веской причины!» Дура душой!

Эта Люся была такая симпатичная, энергичная, так прекрасно рассказывала – интонацией, мимикой, жестами, – что Марина не удержалась, улыбнулась, впервые за этот невероятный день.

– Правильно, Ниночка, – Люся обхватила её за плечи, – не бойся, не унывай! Твоя подруга, то есть я, молча не сидела. Я их поставила на место. Невмоготу было слушать всю эту ересь. Знаешь, что я сказала? «А что, если через месяц-два муж Рогожиной вернётся со звездой Героя Советского Союза? Вы же знаете, он физик и работает на оборону. А сейчас это самое важное и самое секретное. А вдруг он и другие учёные такое ответственное государственное задание выполняют, что даже семье знать нельзя? Случись с ними то, на что вы намекаете, уж это было бы известно. Может, ещё лето не кончится, а в газетах появится сообщение: «Сергей Рогожин – лауреат Сталинской премии!» А вы его жену вон выставили! Что тогда с вами будет!»

У Марины ком подступил к горлу.

– Люся, – сказала она, – какая ты славная!

В этот миг она впервые ощутила себя Ниной Рогожиной. А Люся довольно засмеялась:

– Ну, какую я речь закатила? Перепугала наших начальниц. У них глаза сразу забежали, они зашущукались. А потом директриса говорит: «Не будем торопиться с этим вопросом. Ещё каникулы, у Рогожиной отпуск до августа, пусть отдыхает». И знаешь, быстренько так педсовет свернули – поговорили немного о ремонте, о новом наборе и распустили нас.

Было слышно, как из соседней комнаты, с балкона Тамара звала

брата домой. Потом она заглянула в комнату.

– Людмила Ивановна, оставайтесь с нами обедать, у меня уже всё готово.

И тут же в дверь нетерпеливо зазвонил Толик.

IV

Утром Нина проснулась в своей постели, в своей комнате – в квартире Рогожиных. Ещё не открыв глаза, она всё вспомнила, но на несколько секунд поверила, что сейчас увидит гостиничный номер и что она – Марина. Но тут же услышала тиканье ходиков с гирькой на цепочке – вчера она заснула под их мерное движение. Она приподнялась, отбросив одеяло, и сразу увидела, что напротив, в детской кроватке сидит маленькая девочка, тараща серые ясные глазёнки.

Всё, происшедшее с ней, было, конечно, совершенно необычным. И всё-таки больше всего поразило Марину существование вот этой дочки, которую она не рожала, но которая была необыкновенно похожа на неё. Когда вчера, как и обещал, Толик привёл малышку домой, та с порога бросилась к ней, растопырив ручки и лопоча «мама», забралась к ней на колени, обняла и стала весело что-то рассказывать на своём детском языке. Растерявшись в первые мгновения, Марина вдруг испытала томительную нежность к этой невесте откуда взявшейся девчужке. Она прижала упругое тёплое тельце, гладила высокий лобик и светлые пушистые кудряшки, схваченные бантиком, целовала щёки и глаза, шепча: «Машенька, Машенька...» Нежность и страх! Тамара по-своему поняла её взгляд и порыв, и стала тихонько утешать:

– Ничего, Ниночка, всё будет хорошо.

...Тамара сама одела и увела малышку. Нина не возражала: ей ещё предстояло узнать, где расположены детские ясли. На кухне она сделала себе и Толику омлет с колбасой и сыром. Быстро его умяв, мальчишка восхищённо причмокнул:

– Здорово вкусно! Чего ты раньше такой не делала?

– Недавно узнала рецепт. – Марина подумала, что она не раз их удивит своими кулинарными способностями: с детства умела и любила готовить. – Толик, ты не уходи. Дождёмся Тамару, и я хочу с вами поговорить.

Мальчик соорудил гримаску:

– Томка пойдёт ещё по магазинам. А мы с Витькой договорились встретиться в школе, на спортплощадке. Ты же знаешь, он учит меня приёмам самбо.

– Но ты не долго?

– Нет, через час буду, как штык!

И Толик умчался, хлопнув дверью. Марина осталась одна. Помыв посуду, постояла немного, раздумывая, потом пошла осматривать квартиру. Вчера она была так ошеломлена и разбита, что все чувства, и любопытство тоже, оказались подавлены. Она ушла в «свою» комнату, едва дождавшись сумерек, и уснула мгновенно.

Квартира у Рогожиных была большой даже по меркам Маринино времени. Впрочем, что она знала о быте довоенных лет? Может быть как раз тогда специалистам проще было получить подобающее жильё?.. Четыре комнаты. Две из них выходят прямо в гостиную. Это комнаты Тамары и Толика. Они небольшие, но удобные. У девушки – аккуратно, без излишеств, на стене только портрет симпатичной, ещё молодой женщины, видимо матери. Этажерка с книгами – почти все по медицине. Марина вспомнила, как Тамара умело взяла её за руку, щупая пульс. Догадалась: студентка-медик.

У Толика порядка было меньше, но для мальчика – неплохо. На стенах – вырезки из журналов, некоторых людей на них Марина узнала: лётчик Чкалов, полярник Папанин. И тоже портрет в рамке: мужчина в командирской форме, с усами. Наверное, отец. Что-то неуловимо-знакомое в его облике встревожило Марину. Некоторое время она пыталась понять, но потом махнула рукой – нет, не получается, видимо, мешают усы. У мальчика в комнате тоже были книги на двух самодельных полках: Фенимор Купер, Майн Рид, фантастика Обручева, Беляева, «Пылающий остров» Казанцева. Из-под кровати выглядывали небольшие гантели, в углу – свёрнутая волейбольная сетка.

В гостиной Марина не задержалась, к ней она уже привыкла. Прошла сразу в самую большую комнату квартиры. Только в неё вёл отдельный ход из коридора. Здесь же был и балкон. Тут жила Нина Рогожина с мужем, дочкой, в ожидании четвёртого члена семьи. Она сама...

Утром она заметила и книжный шкаф, и письменный стол, и

маленький столик у детской кровати, и шифоньер, и комод... Теперь решила рассмотреть всё получше. Книг был много: собрания сочинений Толстого, Чехова, Тургенева, Шекспира, Байрона. Кое-что ещё дореволюционного издания. Несколько полок – научные книги и журналы, были и книги по педагогике.

С особым трепетом Марина подошла к шифоньеру. Личная одежда, в какой-то степени, лицо человека. Что она сейчас увидит?

Слева на плечиках висели платья. На них она только глянула, не рассматривая. Взгляд сразу остановился на мужском костюме – тёмно-сером, в чуть заметную полоску, великолепно сшитом. Боже мой! Ведь её муж здесь, в этом мире, – живой человек! Перед платьным шкафом она осознала это, как открытие. А что, если он вернётся? Никто вокруг не сомневается в том, что она – Нина. Он, скорее всего, будет тоже так думать: Нина, его жена, мать его ребёнка. И второго... Нет! Отец её ребёнка – Гоша! Он и только он её муж! Только ему она принадлежит!

Марина отпрянула, захлопнув дверцы шкафа, упала на постель. Почему это всё произошло с ней? Зачем? Какой во всём смысл? Он должен быть, этот смысл. Ведь она уже поняла: в происшедшем мало случайностей, гораздо больше закономерностей.

Совсем ненадолго она забылась – что-то вроде минутного обморока. Когда же вновь ощутила себя, сразу же подумала ясно и целенаправленно: «Надо увидеть фотографию Сергея Рогожина. Должен же быть семейный альбом. Я хотя бы буду знать, как он выглядит».

Альбом она нашла быстро, как и предположила – у Тамары на этажерке. Села на диван в гостиной, почему-то боясь открыть. Перевела дух и – как в воду нырнула.

Первые страницы перелистала быстро: какие-то незнакомые люди, дети. Мелькнуло лицо женщины с портрета, усатого командира... Тамара с подружками, Толик в пионерлагере... А вот и она, то есть – Нина.

Марина долго, с изумлением смотрела на фото. У неё никогда не было такой причёски – косы красивым венком. И такого платья – с круглым воротничком под шею. Но на этом различия кончались. Это, без сомнения, была она сама: большие серые глаза в

обрамлении тёмных густых ресниц, тёмные же, как нарисованные, брови, губы чёткого и нежного рисунка, безукоризненный овал лица. Девушка на фотографии была совсем молоденькой, улыбалась ясно и легко, и эта улыбка, и выражение лица тоже были её. Маринины! Уж ей ли, актрисе, не знать! Сколько своих снимков в разных ракурсах пришлось видеть!

Марина поняла, что изумилась она меньше, чем должна была. Наверное, уже привыкла. Итак, подумала она, это Нина Рогожина. Видимо, ещё до замужества. Внимание! По логике, на следующей странице будет свадебное фото.

Осторожно она переложила справа налево плотный альбомный лист, убрала почти непрозрачную тонкую бумагу. Да, свадебная фотография была перед ней. Но Марина не могла оценить изящное светлое платье невесты, вколотую в волосы живую белую розу, счастливую улыбку. От лица и от сердца её отхлынула кровь, руки вмиг похолодели, обессилили. Альбом упал с колен на пол, но остался открытым на той же странице. И на неё, Марину, почти безжизненную, смотрел весёлым взглядом, держа под руку её же, Нину, Георгий Кирилин. Гоша, её Гоша!

Когда домой вернулась Тамара, Марина успела взять себя в руки, о многом передумать. И пришла к главному, как ей теперь казалось, вопросу – главному и приводящему её в трепет: кого она родит? Если ей суждено остаться в этой реальности, роды её придутся на февраль сорок второго года. 28 февраля 1942 года родился Гоша – Георгий Сергеевич, кстати.

Что она знала о нём? Раньше ей казалось – многое. Теперь она поняла, что по-настоящему прошлым своего мужа, настоящего мужа, она толком и не интересовалась. Мать его умерла давно, но когда он уже был достаточно взрослым человеком. Про отца он, когда она спросила, сказал коротко: «Сгинул».

Почему-то Марина решила тогда, что его отец пропал без вести на фронте. Однако, это её домысел. А что случилось на самом деле? Родился Гоша где-то в Сибири, в эвакуации. Там он рос, кончил школу, ходил с геологами в тайгу, в сибирских журналах печатались его первые рассказы. На гонорар от первой книги, вышедшей в Москве, он купил свою столичную квартиру у коллеги-фантаста, уезжавшего навсегда в Америку. У него есть старшая сестра – имени Марина не знала, – которая живёт в

Сибири.

Но Гоша ведь не Рогожин! Впрочем, его мать потом могла выйти вновь замуж, отчим усыновил мальчика, дал ему свою фамилию... Ну почему она вбила себе в голову эту невероятную мысль! Ведь совпадений не так уж много. И главное – разве может она быть матерью отца своего ребёнка? Такое произнести – не сразу поймёшь, о чём идёт речь! И это совершенно противоестественно. Но... разве не противоестественно всё, что с ней происходит? И разве не существуют парадоксы перемещения во времени? И разве не лежит у её ног альбом, и разве не смотрит на неё со свадебной фотографии и с поясного портрета рядом отец её ребёнка – того, что должен родиться в войну – Сергей Рогожин? Точная копия будущего Георгия Кирилина!

Нужно было отвлечься, чем угодно, только чтобы не думать, сохранить спокойным рассудок. Не отрывая взгляда от роковых фотографий, Марина медленно закрыла альбом, отнесла его на место, прошла в кухню. Мусорное ведро стояло у закрытой на засов двери. Она уже знала, что это ход на «чёрную лестницу», которая ведёт прямо на хозяйственный двор. Там, вероятно, есть и мусорные баки. Взяв ведро, она отворила двери, вышла на лестничную площадку. И сейчас же щёлкнул замок соседней двери, словно её поджидали.

– Здравствуй, соседка! – пропела, выплывая, тучная женщина. Волосы её были крашены хной, но чёрные корни сильно проступали, лицо обрюзгшее, заспанное, но губы накрашены, халат – с претензией на элегантность, но грязный на животе, с обвисшими карманами. Она загородила проход, в упор посмотрела на Нину. – Какие новости? Объявился твой муженёк?

Нина хотела обойти её, но тут в отворённой двери появился ещё один персонаж – молодой мужчина, худой, сутулый. Редкие волосики масляно лепились ему на лоб и уши. Он был пьян. Не так, чтоб вдрызг – на ногах стоял и языком шевелил, но злые глазки были мутны, раскисшие губы слюнявы, а уж разило от него!

– Нинка, – прохрипел он, – училка, стервь! Меняйся по-хорошему, пока предлагаю! А то стукну управдому, что твой мужик арестован, вражина, так сразу загремите за сотый километр!

– Не ори, дурило!

Женщина сердито оттолкнула сына, и он обиженно заворчал:

– Чего ты, мать? Правда же...

– Что правда, то правда, – затараторила соседка, поворачиваясь и всё так же заступая Нине дорогу. – Вы, Нина Николаевна, никак не хотите понять, мы же вам предлагаем прекрасный выход! Вас же с часу на час придут из органов и выселят из вашей квартиры – вражеским элементам такие габариты не положены! А в нашей одной комнате, да коммуналке, вас и трогать не станут. Кому нужно? Вот и обойдётся. А так – останетесь голыми на улице!

Нина молчала. Эти люди её не напугали, она знала их: почти полное совпадение со сценарием. Видимо, ободрённая её молчанием, соседка заговорила совсем по-хозяйски, доброжелательно:

– А если что-то из ваших вещей не войдёт в одну комнату – ничего! Пусть остаются на месте, мы согласны потерпеть, присмотреть!

Они считали, что перед ними Нина Рогожина – испуганная, интеллигентная молодая учительница. Эти люди ошибались. Она всё-таки была Мариной, девушкой из другого времени, актрисой.

– Клавдия Васильевна, – сказала она, и голос её, и взгляд – пренебрежительно-снисходительные, – сразу спугнули соседку. – Из каких таких источников вы получили ваши нелепые сведения о моём муже? Из ваших дурацких голов, наверное? Так держите их при себе! А то ведь знаете, что бывает с теми, кто распускает клеветнические слухи о людях, выполняющих важнейшие и секретные задания правительства? Что это вы так стараетесь всем растрезвонить, что Сергей в секретной командировке? До чьего сведения хотите это довести?

У женщины уже отвисла челюсть, но её пьяница-сын ещё не понимал, бормотал обиженно:

– Какие баре! Им что Петровна, что Васильевна всё одно...

«Отчество не совпало», – догадалась Марина. Она уже спокойно, чуть отодвинув плечом соседку, прошла мимо, спускалась по лестнице. Наконец та пришла в себя, запричитала вслед:

– Ниночка, что ты, милая, мы же всей душой, всё, что нужно! Сколько раз мой Шурик вам водопровод чинил, и, если надо, только скажите, пожалуйста!.. Они же с детства с твоим Серёжей во дворе бегали...

Домой Нина вернулась через парадный вход, подозревая, что Клавдия Петровна с извинениями всё ещё поджидает её. После этого эпизода у неё, как ни странно, улучшилось настроение, вернулись спокойствие и уверенность в себе. Она всё обдумала и решила окончательно: надо увозить семью из Ленинграда, как можно скорее. Фото из альбома... нет, эти люди – Тамара, Толик, Машенька, – не случайны в её жизни! Они ей родные! Пусть необъяснимо, но родные. И всё, что с ней произошло, происходит и станет в дальнейшем, тоже имеет свой смысл. И цель. И она знает, что нужно делать.

Тамара притащила сетку яблок, творог, сметану, свежую рыбу.

– Это всё тебе надо есть, – заявила категорически. – Ты чем занималась?

– Ты же мне не даёшь ничего делать, – улыбнулась Нина. – Но я хочу с вами поговорить. Нужно подождать Толика, он обещал скоро быть.

– Что-то от Серёжи? Известия?

– Нет, к сожалению не это. Но очень важный разговор.

Тамара, озабоченно сдвинув брови, ушла на кухню разгружать сетку. Марина стала ходить по комнате – от двери к окну и обратно. Она сжимала и разжимала пальцы. Сейчас она, Нина, должна найти какие-то необыкновенные слова, чтобы ей поверили и её послушались. Но ведь это невероятно – поверить в то, что она будет говорить!

Да, не раз уже девушка ловила себя на том, что думает о себе, как о Нине. Всего лишь сутки прошли, и вот... Впрочем, это оказалось не трудно – полфильма отснято...

Дверной звонок заставил её вздрогнуть. Из кухни Тамара поспешила к двери и уже вместе с Толиком пришла в гостиную. Мальчик покраснелся, был весел.

– Руки мыть или так сойдёт?

– Так сойдёт, – сказала Марина. – Ребята, нам надо уехать из города и поскорее.

Это были, наверное, не те слова, с которых следовало начинать. Но убедительные монологи, мысленно продуманные ею, вмиг улетучились из памяти, и вышло то, что вышло. Брат и сестра переглянулись, одновременно пожали плечами и почти в унисон спросили:

– Зачем?

– Ну, а что тут делать в городе? Пыльно, шумно... Всё равно у вас каникулы, а у меня отпуск...

– Вот ещё, мне и тут хорошо! – Толик направился к своей комнате, словно разговор окончен. – Возьму мяч, погоняю с пацанами.

– Нина, ты забыла? – Тамара была удивлена. – Через неделю Машенькин сад-ясли переберётся на дачу, в Лугу. Там чудесно! И Толик туда поедет в пионерлагерь. А мы, куда же нам, пока нет вестей от Серёжи?

– Я тоже никуда не поеду, пока брат не объявится, – крикнул Толик из открытой двери.

– Луга? – Марина шагнула к Тамаре. – Ты сказала Луга? Да это же первое, что будет захвачено! Никто оттуда не вырвется!

– О чём ты, Нина?

– Толик! – крикнула Марина, и мальчишка выскочил из своей комнаты переполошенный, с мячом в руках. – Слушай ты тоже! Через месяц... меньше... двадцать пять дней начнётся война. С Гитлером. 22 июня!

Нервы, наконец, сдали. Всё, накопившееся за невероятные сутки, выплеснулось сейчас крупной, неумной дрожью и этим криком. К глазам подступили слёзы, из груди рвалось рыдание. Но она держала себя, изо всех сил. Разговор только начинался, всё было ещё впереди.

Тамара потянулась к ней, и Марина сама протянула руку:

– Хочешь пощупать пульс? Да, сердце у меня бьётся, как колокол... Я хочу вас спасти – тебя, Толика, Машу и его! – Она положила руку на свой ещё плоский живот. – Ленинград немцы окружают в первый же месяц, никто опомниться не успеет. Взять не возьмут, но окружение будут держать два года и семь месяцев! Девятьсот дней! Блокада Ленинграда – вот как это назовут. Ты понимаешь, Томочка, две зимы! В мёртвых квартирах будут лежать мёртвые люди, на пустых улицах – трупы, некому будет хоронить.

– Ты что болтаешь! – Толик отшвырнул мяч обратно в свою комнату. – У нас с Гитлером договор о ненападении! А даже если будет война, то они ногой на нашу землю не ступят! Разобьём на их территории, Польшу освободим...

– Молчи, мальчишка, – сказала Марина, устало опускаясь на

диван. – Освободим, конечно, и Польшу, и Болгарию, и Венгрию... Только сначала три года Украина, Белоруссия и Россия до Волги будут под фашистами.

Тамара села рядом и таки взяла её за руку.

– Ниночка, – голос её был тревожен и ласков. – Очнись! Ведь это же всё бред, фантазии! У тебя всё-таки было сотрясение мозга, я уверена. И все твои кошмары – его следствие. Ты успокоилась? Ну подумай сама: откуда всё тебе это знать. Этого никто знать не может.

Усталость и апатия, как тяжёлый груз, давили на Марину. Хотелось под этот ласковый голос лечь головой Тамаре на колени и уснуть... Преодолевая себя, Марина ответила:

– Никто... Только я. Считаю, что мне было видение... Откровение...

И вдруг Толик, до сих пор растеряно молчавший, в два прыжка оказался рядом с ней. Глаза его горели яростным и праведным пламенем. И это те глаза, в которых она всегда видела добродушие и лёгкую иронию, словно он понимает что-то большее, чем положено мальчишке двенадцати лет. Теперь же он смотрел на неё так, словно уже поставил к стенке и навёл прицел.

– Дура! – Рука его поднялась, готовая ударить, но всё же только рубанула воздух. – Ты подлая паникёрша! А может тебя завербовали? Фашисты?

– Молчи!

Тамара сильно оттолкнула брата. Он и вправду замолчал, тяжело дыша, вцепившись руками в край стола. Девушка повернулась к Марине. Та сидела, откинувшись на кожаный валик. Голова кружилась, кровь стучала в висках, перед глазами плыли тёмные круги. Странно, но ей показалось, что Тамарино лицо вдруг изменилось. Та ещё утром причесалась по-другому: просто заплела одну косу. Переброшенная на грудь чёрная толстая коса напомнила о чём-то... далёком, забытом. Добрые терпеливые глаза, большие и тёмные, «как чернослив». Волосы, вьющиеся на висках, палец, наматывающий кончик косы...

Всё поплыло у Марины в глазах. А когда вновь соединилось и предметы обрели чёткость, она вцепилась в запястье стоящей перед ней девушки, и голос её, измученный страданием, непониманием и новым откровением, упал почти до шёпота:

– Надя, Надя! Ты видишь меня? Ты узнала? Это твой другой мир, о котором ты говорила? Зачем я здесь? Мы все погибнем! Нас всех закопают на Пискарёвском, если не уедем! Ты же знаешь, что это правда, ты ведь тоже оттуда...

Тамара пыталась вырваться – ей показалось, что у Нины припадок. Но пальцы молодой женщины словно свело судорогой, а глаза смотрели так неотрывно и страшно, странные слова как будто заворачивали. Девушка не могла вырвать руки, не могла отвести взгляд и чувствовала, что проваливается в бездну, теряет сознание. Смутные, бредовые картины поднялись со дна памяти, поплыли перед глазами...

– Марина... – прошептала она. – Я тебя слышу... Вот и встретились...

В этот миг Нинины пальцы ослабели, руки упали, глаза закрылись, и она, с лёгким вздохом, сползла с дивана на пол.

– Томка! – Толик наскочил на застывшую, молчавшую сестру. – Что с ней? Она умирает? Ты чего?

Тамара медленно приходила в себя. Что-то произошло. Она не могла понять, что? Вот только родилась откуда-то убеждённости: «Надо сделать то, о чём просит Нина. Обязательно надо...»

Теперь она уже совсем очнулась. Приподняла Нине голову, оттянула закрытое веко, послушала дыхание.

– Она в обмороке. Ничего, Толик, это не страшно. Помоги, отнесём её в спальню. Обмороки, знаешь ли, предохраняют психику от перевозбуждения. Через время она очнётся, ей будет лучше.

Когда они уложили Нину на её кровать и вновь вышли в гостиную, Тамара взяла брата за руку и посадила с собой на диван.

– Ты хорошо знаешь жену своего брата?

Мальчишка покраснел и опустил глаза.

– А чего она...

– Вижу, ты меня понял. – Жёсткий взгляд Тамары смягчился. – Толик, Нину надо спасать. Даже ты, который её давно знает и любит... Ведь ты любишь её, правда? Даже ты не понял, что у неё больной бред. А что же говорить о других? Ты хочешь, чтоб Серёжину жену, Машенькину мать, нашу Нину арестовали? Чтоб второй малыш не родился?

Брат смотрел на неё испуганно.

– Но Тома, что же это с ней?

– Думаю, навалилось всё сразу. Беременность, Серёжино исчезновение, нервотрёпка, соседи... Она вот вчера упала на улице – это тоже.

– Так, может, в больницу?

Тамара вздохнула:

– Я думала об этом. Да боюсь. Врачи, знаешь, тоже люди разные. А вдруг Нина при них начнёт говорить о... войне? Предостерегать. Кто-то и возмутится, вроде тебя. Что мы скажем Серёже, если не убережём его жену и ребёнка?

– Так что же делать?

– А делать нам, Толик, я думаю, нужно то, о чём просит она. Уехать. На время. Знаешь, может случиться такая вещь: пройдёт тот срок, который она назвала, как начало войны... Помнишь дату?

– Двадцать второе, кажется... июня.

– Да. Так вот, пройдёт этот день, война не начнётся, и Нина придёт в себя. Навязчивая идея её отступится. А пока, если мы согласимся и уедем, она успокоится. Это ей сейчас важнее всего – душевный покой.

Толик уже согласился.

– Но куда же мы поедem, Тома?

– Да разве у нас большой выбор? Из родственников одна тётя Вера и есть.

– Но это же далеко, аж в Барнауле!

– Значит, поедem в Барнаул. Разве тебе не хочется прокатиться через всю страну и Сибирь посмотреть?

Мальчик радостно присвистнул, но тут же стал серьёзным, взгляд потускнел.

– Но как же мы уедем? А Серёжа?

– Потом, когда всё уладится, он нам будет благодарен за Нину. И мы ему письмо напишем, вот здесь, на столе, оставим. Когда он придёт домой, всё узнает.

Тамара крепко сжала зубы. «А если он не вернётся домой, – жёстко и впервые откровенно подумала она, – то, может быть, там, в Сибири, мы окажемся ближе к нему, чем здесь...»

Из коридора послышались тихие, слегка шаркающие шаги. Вошла Нина, бледная, в запахнутом халатике, придержалась рукой

о стену. Брат и сестра разом подскочили к ней, подвели к дивану.

– Мне было нехорошо? – Нина посмотрела на Тамару. – Что со мной было, Томочка?

– Небольшой обморок, это не страшно. Теперь всё будет в порядке... Нина, мы решили: ты права, надо уезжать из Ленинграда. Съездим, навестим тётю Веру, она давно звала нас к себе в Барнаул.

Марина подняла на Тамару огромные, запавшие глаза:

– Да, верно, Барнаул. Как же я забыла...

Её Гоша родился именно в Барнауле, теперь она это вспомнила. Ей хотелось плакать – от слабости и беспомощности, от безысходности и ощущения себя щепкой в водовороте событий... Или от одержанной победы? От надежды, что, может быть, всё образуется? Ей хотелось что-то ещё сказать этим девушке и мальчику, глядящим на неё с ожиданием.

– Где моя гитара? – спросила она, оглядываясь.

Нина Рогожина в фильме хорошо пела и играла.

– Я брал, сейчас принесу! – рванулся Толик в свою комнату.

Гитара привычно легла в руки, и какое-то время, раздумывая, Марина перебирала струны.

– Тома, – прошептал Толик, – что она тебе там говорила, я не понял? Называла тебя по-другому, Надей вроде?

– Когда? – Тамара удивлённо посмотрела на брата. – Может, бредила? Я не помню. Тише...

Марина негромко запела. У неё был чистый, проникновенный голос.

– Тёмная ночь,
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звёзды мерцают.
Тёмная ночь...

Мальчик и девушка слушали ещё не знакомую им песню. Они не знали, что она – о большой войне и об их жизни. Они не верили в эту войну. Но странная и прекрасная песня звучала, и их сердца всё сильнее сжимались в тяжком предчувствии и тревоге.

– Смерть не страшна,
С ней не раз мы встречались в степи,
Вот и теперь

Надо мною она кружится...
Ты меня ждёшь,
И у детской кровати не спишь,
И поэтому знаю, со мной
Ничего не случится.

V

Зимний воздух в Барнауле здоровый – сухой, безветренный, лёгкий. Но это когда морозы не ниже двадцати градусов. А вот если уже под тридцать или даже сорок, тогда белый пар от дыхания тут же превращается в изморозь, облепляя губы и ноздри. И даже толстый шарф, в который прячешь лицо, не спасает.

Зима 42 года выдалась суровой. И январь, и февраль. Стужа и плохие вести с фронта, объединившись, настолько выматывали силы и души людей, что, чтобы хоть как-то взбодрить, а может даже и развеселить, додумались на заборах и деревьях развесить плакатики. «Крепитесь, люди, – скоро лето!» – было написано на них. Натыкаясь на эти незамысловатые слова, взгляд человека и вправду оживал, поскольку бессознательно думалось не только о непременно возвращении тепла, но и о других долгожданных переменах: слово «лето» так хорошо рифмовалось с «победа».

Тамара работала в госпитале. Искалеченные бойцы прибывали непрерывным потоком. Она уже насмотрелась и на самые жуткие раны, и на тяжкую смерть. Ей хотелось на фронт. Здесь, в глубоком тылу, должны работать пожилые врачи, медсёстры, нянечки. Она молода, здорова, имеет медицинское образование, пусть и неполное – её место там. Так считала девушка. Но сейчас, в преддверии родов, она не могла оставить Нину, не имела права. Нина весь февраль чувствовала себя плохо, держалась из последних сил. Вот родит она, поправится, будет с малышом всё в порядке, и Тамара тут же подаст заявление в военкомат.

Город был переполнен – эвакуированные, беженцы. Люди ютились где попало, даже пригородные посёлки оказались забиты. Рогожины жили хорошо: и потому, что приехали сюда ещё до начала войны, и потому, что здесь была у них родственница. Единственный сын тёти Веры – давно уже вдовы, – с первых дней был на фронте. А им в тётинной маленькой, но двухкомнатной квартирке казалось и просторно, и уютно.

На второй день после объявления войны, когда многие люди ещё пребывали в оцепенении, а другие – в искренней вере в молниеносность нашего ответного удара, – Нина пошла в ближайшую школу устраиваться на работу. Она-то знала, что впереди долгие и тяжёлые годы, и готовиться к ним нужно сейчас. Объяснения её казались естественными и простыми: она и младшие члены семьи приехали в Барнаул погостить, и вот!.. Теперь вернуться в Ленинград они не могут, муж её, как и другие молодые мужчины, будет призван в армию, значит нужно налаживать свою жизнь здесь. Директор и учителя приняли ленинградскую – столичную! – учительницу по-доброму, даже сообщение о беременности их не смутило.

– У нас педагогов для малышей не хватает, – сказала директор. – Даже если поработаете только первое полугодие, и то хорошо. Там, может, и домой вернётесь. А нет... что ж, устроим ребёнка в ясли, и работайте дальше.

Она была пожилой, много повидавшей женщиной, смотрела грустно, словно предугадывала то, о чём Нина знала доподлинно.

Теперь Толик был её самым главным помощником. Он хотел пойти работать на машиностроительный завод – там начали выпускать снаряды для фронта, переналаживали всё оборудование для изготовления танков. Подростков брали в станочники, но только с четырнадцати лет. Толику весной должно было исполниться лишь тринадцать. Он учился в школе, гулял с маленькой племянницей, стоял в очередях за продуктами, ездил в пригород обменивать вещи на картошку и репу. Иногда даже успевал и на санках покататься с сопок, и на коньках на Оби. Тётя Вера прибалывала, но именно она в основном занималась Машенькой и делила с Ниной домашнее хозяйство, поскольку Тамара почти сутками пропадала в госпитале. Когда она особенно задерживалась, Толик бегал, носил ей поесть. Он ходил по палатам, глазами, полными жалости и любви смотрел на перевязанных, стонущих людей, если просили пить – подавал, если хотели поговорить – присаживался на койку. Однажды, вернувшись с такого «обхода» в комнату, где сестра перекусывала, он долго молчал, а потом спросил:

– Тома, откуда она могла всё это знать?

Тамара не удивилась, она сразу поняла, что он спрашивает о

Нине, что этот вопрос давно мучает братишку.

– Это необъяснимо.

– Но ведь всякие пророки, видения, откровения – это же поповские враки!

– Я тоже человек неверующий, комсомолка, – сказала Тамара. – Но знаешь, милый... «Есть многое на свете, друг Гораций, что недоступно нашим мудрецам»... Знаешь, откуда это?

– Нет, и вообще, не понял – про что?

– Вот как раз о том, что в жизни нашей, что бы мы не думали, а необъяснимые и даже таинственные явления существуют. В твоём возрасте, дорогой, я Шекспира уже вовсю читала, тем более «Гамлета».

– Я Гайдара читаю, – буркнул Толик.

– Хороший писатель, – миролюбиво согласилась Тамара и ласково потрепала мальчишку по волосам. «Ещё и читать успевает», – подумала с нежностью.

Последнюю неделю Нина на работу не ходила: из-за сильных морозов занятия в младших классах отменили. Для неё это было хорошо. Тамара давно уже уговаривала её оставаться дома, видя плохое самочувствие. Нина отказывалась: надо было зарабатывать, да и к своим второклашкам сильно привязалась, знала, что заменить её некому.

На удивление легко она, Марина, стала учительницей. Перед своим первым приходом в класс настроила себя: «Я играю роль в фильме: молодая, но опытная, строгая, но справедливая учительница. Любит детей и они её любят...» Вошла в роль, в избранный имидж – и всё получилось! Повезло и в том, что дали ей второй, а не первый класс. Ребяшки уже умели читать, писать и считать. У неё же были учебники, в которых – и задачи, и упражнения. А те неловкости и несуразности, которые коллеги в ней замечали, они же сами объясняли разными подходами к вопросам преподавания в Ленинграде и в Барнауле. И вообще, её, Ниночки Рогожину, все любили, ей сочувствовали – её город был в блокаде, от мужа не приходило писем...

О «муже» – Сергее Рогожине, – Марина часто думала, и в семье часто говорили о нём. Предполагали, что институт мог быть эвакуирован куда-нибудь – он ведь оборонный, а значит сейчас особенно важный. Но, может быть, Сергей попросился

добровольцем на фронт. Известий о нём не было. Тамара и Толик находили этому объяснение в самых различных своих предположениях. Марина помалкивала. Она хорошо помнила, как Гоша давно, в другой её жизни, сказал о своём отце: «Сгинул». Она подозревала, что никогда не увидит Сергея Рогожина.

В эти дни как раз и появилось у Марины время о многом подумать. Теперь она часто лежала на диване, укрытая двумя одеялами, потому что топили они голландскую печку очень экономно. Но ей было уютно, хотя постоянно немного знобило. От высокого давления кружилась голова, но это было не страшно, даже немного приятно. Нить её раздумий то ускользала, то снова появлялась...

«Там, в моём мире, на моём месте очутилась ли настоящая Нина Рогожина? Ведь она же существовала, я возникла не в пустоте. Значит, она должна была куда-то деться... Обменяться со мной местами... Как ей там живётся? Я в какой-то степени была подготовлена к этой роли. А она? Доснят ли фильм? Вот уж кто мог бы лучше всех сыграть Нину Рогожину – сама Нина! И ведь она тоже должна быть беременна... А Гоша! Боже мой, Гоша! Неужели он принял её за меня? И женился на ней, думая, что это я, Марина? Нет! Нет! Но... ведь и для неё он – её муж Сергей, пусть даже с другим именем!..»

Ненадолго и некрепко засыпая, Марина вновь приходила в себя и вновь размышляла:

«Но почему так совпали сценарий и действительность? Жаль, я не знаю сценариста, только по фамилии. Может быть он описал настоящие события, то, что хорошо знал и чему был свидетель? Может, это выросший Толик? Нет, фамилия не Рогожин. А вдруг Толик, став писателем, взял псевдоним?..»

И через время – снова об одном и том же:

«Кого я рожу?..»

Она помнила о дате – о двадцать восьмом февраля. И самый короткий месяц в году быстро приближался к концу. Утром 28-го Нина сказала Тамаре:

– Мне кажется, это произойдёт сегодня. Я чувствую.

В Нинины предчувствия Тамара верила безоговорочно.

– Вот и славно, – бодро сказала она. – На стыке зимы и весны – это хорошая примета. Ты не переживай, Ниночка, я сбегая на

работу, но скоро вернусь, отпрошусь.

Она и вправду скоро пришла, покрасневшая с мороза, с горящими глазами, с влажными от растаявшего снега волосами. «Красивая...» – думала Нина, глядя на девушку.

– Ну вот, – весело заявила та. – Теперь я от тебя не отойду.

Весь день они все были с Ниной рядом, и Толик, и тётя Вера. Даже маленькая Маша чувствовала, что происходит что-то необычное, всё время просилась к маме на ручки. Но её не пускала, отвлекали, забавляли.

Тамара продумала все нужные действия до мелочей. Как только Нина испытает первые признаки приближения родов, Толик помчится в госпиталь – это совсем рядом, – скажет дежурному врачу, и тот вышлет к их дому госпитальную машину, которая доставит Нину в роддом. Об этой машине девушка заранее договорилась с главврачом.

День подходил к концу. Поужинали рано, пока ещё был свет. В восемь вечера лампы погасили – в городе экономили электричество. Малышку уложили спать сразу, сами ещё часик посидели в тёмной комнате, которая, когда глаза привыкли, не казалась такой уж тёмной, поговорили. Потом тоже стали укладываться.

Нина, Маша и Тамара спали рядом. Тамара заснула сразу: ей в последнее время выпадали, в основном, бессонные ночи. Нина днём передремала и теперь лежала без сна, слыша девичье ровное дыхание, сопение маленькой дочери, разгадывая свои бесконечные, не имеющие разгадки тайны.

На первую слабенькую боль она не обратила внимание. Та возникла и тут же пропала. Но минут через десять более резкий и более ощутимый укол в низ живота заставил её замереть, прислушиваясь. «Подожду ещё», – решила она. Сердце сильно колотилось. Следующий толчок не замедлил. Нина осторожно приподнялась, села.

– Тамара! – позвала громким шёпотом.

Девушка спала крепко, но чутко – госпитальная выучка. Она тут же открыла глаза.

– Похоже, началось, – сказала Нина.

– Значит, ты не ошиблась. Сегодня, – констатировала Тамара, быстро вскакивая. Казалось, она была довольна.

В темноте Нина видела, как её ловкий силуэт проскользнул с соседнюю комнату – она будила Толика. Потом вернулась к ней.

– Действуем по плану! Он сейчас побежит за машиной, мы же потихоньку одеваемся.

Вскоре мимо них мелькнул Толик, бросив на ходу:

– Я мигом!

Слышно было, как он в коридоре обувается, натягивает пальто, а потом, как обычно, кубарем катится вниз по лестнице.

Помогая Нине одеваться, доставая сумочку с заранее приготовленными для больницы вещами, девушка всё время говорила – тихонько, чтобы не разбудить Машеньку, успокаивающе:

– Всё будет хорошо, Ниночка, ты не переживай. Вторые роды проходят легче, чем первые. Они, конечно, протекают быстрее по времени, но Толик уже побегал, и машина скоро приедет, не подведёт...

Марина улыбнулась, хорошо, что в темноте этого не было видно. Она могла бы сказать Тамаре: «Не переживай, времени у нас достаточно, у меня ведь это первые роды». Но, конечно, ничего не сказала.

Осторожно, в обнимку, они спустились по лестнице, вышли на улицу. Фонари горели редко, но в звёздном холодном небе стоял, в ясном ореоле, тонкий месяц, искрился и скрипел под ногами снег, медленно кружась падали снежинки. Мороз, на удивление, был не велик.

– Как красиво! – сказала Нина и добавила. – Пойдём по улице, навстречу машине. Я сейчас себя хорошо чувствую.

Они медленно направились в сторону светящегося фонаря. Незаметно откуда-то вынырнув, подошёл ночной патруль: милиционер и двое солдат, посветили фонариком. Увидев, что это две женщины, милиционер убрал руку с расстегнутой кобуры.

– Ваши документы...

Тамара показала пропуск: у неё было разрешение ходить во время комендантского часа.

– Веду невестку в роддом, – объяснила она. – Сейчас должна подъехать машина из госпиталя.

– Машина? – Милиционер и солдаты переглянулись. Нина видела, что все трое очень насторожены, руки солдат не отпускают приклады винтовок. – Ну, хорошо, – милиционер отвёл

фонарик. – Ждите.

В это время из-за угла в конце улицы вынырнула машина.

– Вот она! – обрадовано воскликнула Тамара. – За нами!

Машина ехала быстро, приближаясь, не тормозя. «Толик торопится», – успела подумать Нина, и одновременно Тамара удивилась:

– Он что, не видит нас?

Патруль ещё не отошёл, стоял по другую обочину дороги. Вдруг милиционер рванулся вперёд, на ходу доставая пистолет, наперерез машине.

– Стой! – закричал он. – Стреляю!

Грузовик – теперь обе женщины увидели, что это не госпитальная машина, а грузовик, – не снижая скорости, взвизгнув, вильнул в сторону. В их сторону. Последнее, что увидела Нина: чёрные огромные глаза, руки, толкающие её почти из-под самых колёс – страшных, летящих прямо на неё.

– Надя! – закричала она, падая и падая в темноту, и как будто слыша издали крики, выстрелы и гулкий, словно эхо, отзвук:

– Марина-а...

* * *

Наверное, раза два она приходила в себя: на несколько мгновений брезжил свет и доносились звуки. Тряска и гул мотора, заплаканное лицо Толика с дрожащими и что-то шепчущими губами, какие-то люди в белом одеянии – ангелы, что ли? – но басистый, не ангельский голос: «Быстро в родовую палату!» Но всё это было так смутно, не по-настоящему, что почти не проступало в сознание, плавало в бредовом белесом тумане. А потом наступила боль, всё вмиг смыла, затопила новой темнотой.

...Ещё не открыв глаза, Марина поняла, что проснулась. Или очнулась... Почему? Где? Над ней был высокий белый потолок, горела яркая неоновая лампа, слева, в окно, брезжил тусклый свет. Утро? Вечер? Женщина в белой шапочке, халате подошла, положила ей руку на лоб. Лицо у неё было хоть и усталым, но весёлым.

– Пришла в себя? – спросила она. – Умница! Как ты себя чувствуешь? Ничего, всё хорошо. Такого бутуза родила, заглядение!

– Я родила?!

– Ах ты, страдальца! – Женщина уже ловко промокала марлей ей лицо – Сама намучилась и мы с тобой измучались. И то – первые роды, а ты всё время почти без сознания, а тут ещё этот кошмар со светом. Ужас!

Марина уже не слушала:

– У меня мальчик?

– Да ещё какой! Крепыш, красавчик. Сама приняла его.

Акушерка приподняла край одеяла, очень осторожно потрогала правую руку Марины.

– Не больно? Вот и славно. Надо же, только когда ребёнка приняли, заметили, что у тебя рука вывихнута. Доктор говорит, такое бывает при тяжёлых родах: мамы бьются в судорогах, хватаются за что попало и сами себя травмируют. Он же тебе и вправил, пока была без сознания – всё равно боли ты не чувствовала. А теперь, видишь, уже и опухоль сошла.

Она вновь поправила одеяло, покачала головой:

– Не знаю, не знаю... У тебя-то и бок весь правый в кровоподтёке. Может, тебя такую травмированную и привезли, а мы не заметили, торопились: схватки у тебя уже были сильные... Сама-то помнишь, что случилось?

– Под машину попала, – тихо прошептала Марина сама себе. Она всё вспомнила – только теперь!

Акушерка сказала ещё, что после родов доктор сделал ей укол снотворного, теперь она хорошо выспалась и пойдёт на поправку. Пока полежит в изоляторе, но если всё будет хорошо, к вечеру перейдёт в общую палату к другим мамашам. Уходя, она добавила:

– Немного попозже принесу тебе твоего малыша. Нет, пока ещё не кормить, а просто посмотреть. Ведь их сразу мамочкам показывают, как только примут и пуповину отрежут. А ты сразу в беспмятство впала... погоди чуток, принесу!

Марина лежала одна. Ей почему-то не было странно, что её ребёнок – сын! – уже родился. Эта мысль жила в ней сама собой. Но думала она о другом. Надя! Она помнила, что её из-под машины вытолкнула не Тамара, а Надя. Как, каким образом почти забытая подруга детства оказалась ипостасью Тамары, превратилась в неё? Или наоборот? Или это всё вообще её больной бред?

Много лет назад Надя уехала и не написала ей ни слова, никогда. Сначала Маринка ждала, недоумевала, потом сердилась,

потом всё реже и реже вспоминала чернокошую серьёзную девочку, её странные прощальные слова. Теперь, лёжа в больничном изоляторе, она думала: может быть, Надя ещё тогда, в детстве, умерла? Потому и говорила об «ином мире». А теперь вернулась, чтобы спасти её? Ведь, как ни поворачивай, а мир, в котором сейчас живёт она, Марина, – иной. И что вообще мы знаем о другом состоянии материи, ином мироощущении, о том, что, не задумываясь, называем «потусторонним светом»?

Мысли путались, расплывались... Она задремала. Ненадолго, но когда вновь открыла глаза, лампа на потолке не горела, в комнате было светло от окна. «Сейчас придёт акушерка, принесёт моего сына, – подумала. – А как же Тамара? Или Надя? Не пострадала ли? Акушерка вряд ли знает, надо дождаться кого-то другого».

Знакомая женщина и впрямь скоро вошла в комнату.

– Ты не спишь? Вот и хорошо. Малышей сейчас покормят и я принесу твоего.

Она присела к Марине на кровать, наклонилась к ней заговорщически:

– Твой-то как рад сыну! Уже прибежал, справлялся! Скоро, небось, опять придёт.

– Кто? – не поняла Марина.

– Как кто? Муж, конечно.

Молодая женщина резко села, не почувствовав боли.

– Сергей?

Акушерка даже слегка растерялась и немного испугалась странного взгляда и сорвавшегося голоса больной.

– Да нет, – проговорила нерешительно. – Может, я ошибаюсь, но ведь его вроде бы зовут Георгий...

И подхватив качнувшуюся, помертвевшую фигуру за плечи, воскликнула:

– Что с тобой, Мариночка?

...Когда Марина окончательно пришла в себя и завершила свою добрую хранительницу, что с ней всё в порядке, та принесла-таки ей малыша. Он был прекрасен! И очень похож на её Гошу... Родного, любимого, которого она вновь увидит... Нет, сейчас она не будет думать об этом, иначе расплачется и вообще – Бог знает что может случиться. Потом, когда-нибудь, она расспросит Гошу

об этих месяцах. Когда-нибудь...

Прикасаясь губами к смуглым щёчкам запеленатого как куколка малыша и думая о своём, Марина почти не слушала свою словоохотливую собеседницу. А та рассказывала:

– Такого я за свою жизнь и не помню! И ты, и твой малыш просто счастливики, что всё обошлось. Это же надо: принять ребёнка в полной, ну абсолютной темноте!

Марина подняла глаза от чудесного личика сына:

– Как это – в темноте?

– Да ты ж ничего не знаешь! – изумилась акушерка. – Так слушай и запомни на всю жизнь... Ты как раз опять ушла из сознания, но уже показалась головка ребёнка и потуги шли сами собой. Доктор держал тебя за руку – слушал пульс, медсестра следила за давлением. Только я закричала: «Есть! Пошёл!» – и протянула руки, чтоб помочь ребёнку, как свет и погас. После такого яркого света тьма показалась просто крошечной! Доктор не растерялся, сразу бросился к рубильнику запасного движка, он у нас как раз для такого случая предусмотрен и совсем не связан с общей электросетью. Но самое удивительное, что и он не работал! Наверное, наш доктор тоже растерялся – всё щёлкает рубильником, ругается. А тут ты, Мариночка, как закричишь – два раза и так сильно... Тогда и он на меня крикнул: «Ольга, ребёнок!» Минуты две-три всего и прошло-то, наверное, но глаза уже к темноте привыкли, да и месяц, оказалось, в окно светил. А я, знаешь, как стояла с вытянутыми руками, так и осталась, оцепенела. Но от крика очнулась, к тебе подалась, и в тот же миг твоего малыша подхватила. Господи, еле успела. А он, славный такой, сразу и закричал. Доктор пуповину перерезал, понёс его ближе к окну. Медсестра и я – за ним. Но тут ты опять то ли вскрикнула, то ли застонала, зашевелилась сильно, и я к тебе вернулась. Глажу тебя по голове, а сама страшусь: как же быть! Ребёнку сейчас пуповину перевяжут, глазки закапают, оботрут и запеленают – это и при лунном свете сделать можно. А вот тебе и послед убраться, и зашить кое-что, и капельницу поставить – как всё это в темноте... Но тут, на счастье, свет и загорелся!

Ольга вздыхала, переживая вновь самый необычный случай в своей долгой акушерской практике. Марина затуманенными глазами смотрела на спящего в её объятиях мальчика и понимала,

что не будет ей покоя до конца жизни. Потому что никогда не будет знать, где же она родила – ещё там, в сорок втором году, или уже здесь, в своё время. И кого она родила – этого мальчика, который сейчас прижимается к груди, или того, который остался в холодном Барнауле первой военной зимы. Серёжу, своего сына, или Гошу – его отца...

Конец.

Кирилл МЫЗГИН

«ЕСЛИ СТАНЕТ ГОРОД МНЕ ТЮРЬМОЙ ...»

Я потирал свои запястья
Сбежав от скуки постоянства,
Освободившись из-под власти
Асимметричного пространства.

Сбежал туда, иным где плохо,
Но где у входа будет выход,
Где за моим свободным вдохом
Последует свободный выдох.

Где грусть смешна и быстротечна,
Где каждый кто-то ждет кого-то.
Сбежал туда, где мне навечно
Надела кандалы свобода.

День как день.
Без особых, пожалуй, примет.
Только рядом – любимые сердцем глаза.
На соседней скамейке сидел Архимед
и кормил голубей.
Намечалась гроза.
Клен отбрасывал тень так, что ясно теперь,
Как порой сюрреальна в июне трава.
Ветер стих.
И на этом довольно потерь.
Мы остались вдвоем.
Нам остались слова.

50 ОТТЕНКОВ ВЕРЫ

Я молился луне и выл на иконы.
Целовал потолок. Заколачивал двери.
Я не чувствовал смысла. И физика веры
Обретала совсем иные законы.

Я устал и остыл. Застыл во мгновеньях:
Отражение моё существует случайно.
Отторжение неба во мне изначально.
Время спит на моих дрожащих коленях.
Лучше быть до безумства самовлюблённым, -
Эгоизм – это вроде лекарства от скуки, -
Чем, себе заломив одиночеством руки,
Ограничить свой мир проёмом оконным.

Что ж. Первого марта – ни много ни мало –
Как будто не в силах смириться с весной,
Снежинки отчаянно небо роняло.
Одну за одною, одну за одной.

Шарфом замотавшись – спешу разобраться
в поступках природы. Они не ясны.
Снежинки резвятся. Под ноги ложатся.

А может быть, это эпиграф весны?

Старая гостиница. О ней,
Лучше сотни тысяч разных слов
Скажет скрип гостиничных полов.
С каждым шагом, кажется, ясней:
Звук былого – не предсмертный хрип,
Звук былого – это просто скрип.

Он подобен нерву на разрыв,
Боли от бесчисленных утрат.
Скрип как крик, как память, как набат.
И теперь, на землю наступив,
Под ногами скрип услышать жду,
Будто я по прошлому иду.

Под звук серебряного звона,
Что созывает всех к обедне,
Гулял бесцельно я наемдни
Среди домов и скверов Бонна.

Как вижу вдруг – идет Бетховен:
Сосредоточен, очень бледен,
И видно, что он жутко беден
И оттого немногословен.

Но тут остановился гений
Взор кинув на костёла крышу,
Он будто Господа услышал,
Как слышит в миги озарений.

Взмахнув плащом, взметнулся в небо,
Туда, где вечной жизни лоно,
И растворился среди звона,
Как будто вовсе здесь и не был...

Меня касались камни Сиракуз.
Дарили тень опунции и кедры.
С моей души снимали тяжкий груз
С утра Эолом посланные ветры.
Каменоломни: я среди них бродил
Без будущего, как афинский пленник.
И если б повстречался мне Эсхил,

Он образ мой обставил бы нетленным.
Но тленно всё. Лишь только Архимед
Сумел впечатать в эти камни стопы.
...О, как воспалено за сотни лет
Театра древнегреческого небо!

ОКСФОРД

Город, в который влюблён,
Переулков нитями скроен.
И кажется, будто построен
На Божьей ладони он.

Я сражен.
Засыпаю.
В бессилии.
До утра
вне доступа.
Scusi.
Мне, выдавшему
катет Сицилии,
Снится берег
гипотенузы.

Окна тугой прямоугольник,
Как будто к небу дверца.
И - межпространственный раскольник –
Я вчитываюсь в сердце.

ОТКРОВЕНИЕ

Я – лицедей.
Жизнь – это лицедейка.
И всё.
Ах, да!
Хотел еще сказать:
В тенистом парке,
летом,
на скамейке,
Мне голубь мира
выклевал глаза.

Если станет город мне тюрьмой –
Брошу всё! Сниму и шлем, и латы,
И махну куда-нибудь к закатам –
В облака с оранжевой каймой.

Нет уж! В небо я бы боль принёс...
Лучше пусть ветра меня забросят
В глухомань: в страну печальных сосен,
И солёных, словно слёзы, рос.

А вот там уклад мой будет прост:
Встану у окна, как у иконы,
И начну забвенью бить поклоны,
Чтоб устроить сердцу строгий пост.

Екатерина КОРОТКОВА

ПАННОЧКА

1

Если бы она была такая же барышня, как все остальные, и по вечерам вела дневник, она записывала бы этим вечером в своей светелке при ярком свете свечи, мелким, бисерным, аккуратным почерком.

«Сегодня утром маменьке захотелось к чаю варенья из райских яблочек», — взволнованно и быстро строчила бы она. — «Но банка с тем вареньем стояла на высокой полке, да притом еще была задвинута вглубь. Маменька тянулась, тянулась, да так и не дотянулась. Тогда тетя Христина взобралась на табурет и достала-таки банку. Но у табуретки была сломана ножка. Дядя Данила прибил ее гвоздиком третьего дня, да, видать, некрепко, и ножка надломилась, как раз, когда тетя Христина стояла на ней уже с банкою в руках. Тетушка упала и выронила банку.

— У, руки-крюки! — крикнула она дяде Даниле и поползла за банкой, бурча себе под нос: — Вот уж воистину старая дура. Не зря люди говорят: заставь дурака Богу молиться...

— Да, умна, умна, сестрица, — подхватил дядя Данила, — и шишку на башке набила и чай без варенья будете пить.

— Врешь, Данилка! — оборвала его тетя Христина, — там совсем немного на пол пролилось, и краешек от банки отбился. Не слушай его, дурака, сестрица, — обратилась она к маменьке, — будешь ты сейчас чаек с вареньем пить.

Но маменька смотрела с ужасом на разбитую банку и говорила: «Христия, голубка, какой там чаек — в банке той осколков несть числа. Ее выбросить надо».

— Нет, Олесенька, нет, — уговаривала маму тетушка с большим жаром. — Там же только краешек отбился. Вот я ложечку сейчас возьму, да помаленьку те осколочки повыбираю. Вон они все наверху, видать, как блестят, раз, два, три и всё... да, вон еще четвертый... ага, и пятый есть.

Маменька крикнула: «Не надо! Не хочу!» Однако тетенька не стала ее слушать, покопалась ложкою в банке, потом наложила полную чашку варенья, налила холодного совсем уж чаю, ибо устала и не имела сил его разогревать, и сказала ласково и нежно: «Пей, сестрица».

Маменька смотрела с ужасом на обе чашки и тихим, сдавленным

каким-то голосом прошептала: «Ни за что! Умру, не стану пить».

И тут тетенька упала перед ней на колени».

Если бы она была такая же барышня, как все остальные, она описала бы всю эту сцену с начала и до конца, пересказывая подробно реплики, передавая интонации. Переписала бы мелким почерком в своем заветном дневнике, сидя в светелке у яркой свечки.

Но не было у этой панночки светелки, не было яркой восковой свечи. И спала она в темной каморке на сундуке, рядом с которым на полу пристроилась единственная их служанка, Домаха. И каморка освещалась не свечой, а лишь тусклым мерцанием лунного света, пробивавшегося сквозь щели ставень. И дневника у нее сроду не было, не умела эта панночка писать. Дед начал было учить ее в детстве буквам — все-таки дворянская дочь, да вскоре бросил. Во всей их огромной семье хорошо знал грамоте только папенька, ибо имел вкус к наукам.

Но молодая девушка, неграмотная, босоногая панночка была ничуть не менее впечатлительна, чем те, кто исписывают целые томы дневников.

Лунные полосы медленно передвигались по некрашеному полу, богатырски всхрапывала Домаха, так что миски дребезжали на столе, а она всё переживала заново, снова с невыносимой яркостью видела расширенные, полные паники глаза матери, отступавшей всё дальше от тетки, которая настойчиво ползла к ней на коленях, крича: «Выпей, серденько, ну поверь мне, ничего не будет, Христом Богом клянусь». Панночка видела, как по лицу отца, всегда такому славному и доброму, блуждала странная глуповатая улыбка, а иногда он вдруг хихикал — Боже мой!

А потом дядя Данила крикнул: «Вишь старается золовка извести невестку, аж на коленки бухнулась!» и захохотал.

Тут тетя Христина вскочила с колени и, схватив кочергу, кинулась убивать дядю Данилу. Отец, очнувшийся от своего дурного оцепенения, бросился их разнимать. Мать, забившись в угол, дрожала, как собачка под дождем, и никого к себе не подпускала, даже дочку. «Оставьте меня, оставьте», — бормотала она.

Это ещё слава Богу, что дома почти не было народу. Дед отправился в церковь. Дядю Никифора понесло за каким-то делом аж в Борзну. Дядя Серафим накануне простудился на рыбалке и сейчас лечился — приняв малость горячительного и прикрыв голову брилем, спал, раскинувшись на солнцепеке во весь свой немалый рост.

Тетки, верней жены дядюшек, копались на огороде. И первой мыслью Марины было бежать туда и хоть немного отвлечься в работе.

Но выйдя из дому и издали услышав их пронзительные голоса,

дружно поносившие Домаху, единственного, кроме дяди Серафима, человека, хоть что-то делавшего в доме, Марина потихоньку двинулась в другую сторону, и босые ноги сами понесли ее по узенькой зеленой мягкой тропке, пробивавшейся среди высоких белых и желтых цветов.

Голоса теток не совсем еще затихли, а вот уже конец имения, кордон. Прозрачный мелкий ручеек шуршит по камешкам, куст ракиты стоит возле самой воды, а под кустом поношенные старые туфельки. Сколько дождей их вымочило, и сколько раз коробились они, высыхая под горячими лучами солнца. Панночка потопталась на камешках в ручейке, весело и звонко отмывавшем ей ножки, и обулась. Целые ли, дырявые, пересохшие или сырые, не гоже дворянской дочке ходить босиком за пределами своего поместья.

Она пошла вдоль веселого говорливого ручейка и ей все время казалось, что она выскочила из темного подвала на ясный божий свет. Птицы заливались так отчаянно, словно целью себе поставили: своим шелканьем, щебетом, посвистом выразить всю прелесть, всю несравненную радость этого чудного майского дня. Золотые шмели и пчелы с гуденьем сновали между цветами. Бабочки неторопливо и важно перелетали с цветка на травинку, с травинки на цветок. А вон, — ах, какая же она красавица — большая с красным кружевом на темно-коричневых крыльях. А вон та еще и того краше — на бархатной черной мантии ярко-синий узор. И земляника, крупная, розоватая земляника целыми пучками выглядывает из травы.

Девушка замечала все это приметливыми женскими глазами, но ей и в голову не приходило пожелать себе такой наряд. А ведь как она была бы, вероятно, хороша в черном бархате и синем атласе — высокая, тоненькая, со сверкающими черными глазами и распущенными черными волосами — Марина не любила косы и возле дома, в стороне от местных сел, никогда их почти не носила.

Тропинка резко подходила к краю леса и, заслушавшись весенних шумов, панночка остановилась, внезапно совсем близко от себя услышав людскую речь.

Из лесу вышло человек десять парубков и дивчат и тоже замерли удивленно на месте.

«Высочанские, — подумала панна Марина. — Служба кончилась, скоро дедушка домой придет».

И ей сразу представился кислый запах темненького зальца и дурашливый голос дяди Данилы, рассказывающего деду, как эта «скаженная» чуть не угробила его кочергой. И глухой, тяжелый голос тети Христины: «Вы же знаете, батько, мне на всех моих невесток начихать, хоть бы их черт унес в дырявом мешке и уронил над болотом, но Олеся, тато, вы же знаете, как я ее люблю». «Ну, пошутил я, дура

стоеросовая, пошутил», — бубнит Данило. «Кто же так шутит, йолоп, ирод, сукин сын».

Высочанские и в самом деле шли из церкви, но домой не торопились, балагурили, шутили, а две девушки плели венки. Были, очевидно, среди них и шаповаловские.

«Казаки», — сразу же отметила Марина. Казаки отличались от крипаков не одной только одеждой. Вся стать, вся манера у них другая. Совсем особая порода людей.

Рядом с нарядными дивчатами в новеньких вышитых передничках и сорочках, в прехорошеньких сафьяновых сапожках, ей особенно было стыдно и за вылинявшее, неглаженое, не по сезону темное, коричневое платье, и за туфельки, извлеченные из—под ракитового куста.

Но молодежь не торопилась расставаться со случайно встреченной соседкой. «Гуляете? Або по ягоды? Так ещё не поспели». Невысокая, вся кругленькая, как репка, дивчина словоохотливо стала ей объяснять, где можно найти так много земляники, что, хоть целый день ходи, всей ни за что не съесть.

А вообще-то они больше разговаривали между собой, вспоминая какие-то свои дела, смеялись лишь им одним известным шуткам.

Умом Марина понимала, что надо поскорее отделиться от этой нарядной толпы, где она стоит, как цыганка. Головой понимала, но ноги не шли. Какая-то веселая пленительная легкость захватила всех, стоявших на тропе у лесной опушки. Намеки, понятные только одним, и для других имели свою прелесть. Все переговаривались вперекрест, словно бросая друг другу мяч. И Марина — она больше молчала, слушая других — то и дело поворачивала голову, как бы следуя за полетом этого мяча, а вернее, нескольких мячей. Она не так уж много понимала, голова у нее кружилась, но ей все это нравилось и не хотелось уходить.

В непрерывном мелькании лиц сразу выделилось одно, постоянно притягивающее ее взгляд. Смуглое, недоброе и умное лицо невысокого, но плотного молодого казака, показавшегося ей знакомым. «Ну, чистый турок», — думала она, нет—нет да поглядывая в его неулыбчивые очи, и каждый раз чувствуя, что он заметил ее взгляд. Где ж она его видела, этого турка — лицо не то чтобы приятное, но какое-то притягивающее, значительное, сильное.

А еще она заметила двоих. Небольшого роста белокурую девушку, рядом с которой стоял высокий стройный парубок с красивым и милым лицом. Он, казалось, весь светился, белолицый с каштановыми волосами, отливавшими на солнце золотом; и глаза его, хотя и карие, были не темны, а светлы и лучисты. Он очень добрый, подумала она, и тотчас же возникла мысль, как счастлива его подружка. Ну конечно,

не сестра, а подружка. Это было видно по всему — и по тому, как они стояли, и как говорили, и как смотрели друг на друга.

Девушка была очень нарядно одета: в синей бархатной жакетке, шитой серебром, с кружевными рукавчиками, легкими и пышными, словно речная пена. Она показалась Марине замечательно красивой, главным образом, наверно, потому, что была на Марину совсем непохожа — маленькая, голубоглазая, беленькая.

Марина вновь взглянула в притягивающее, как магнит, лицо смуглого казака и неожиданно сказала: «Я вас знаю. Вы — Яков Мацук. Вы с отцом к нам зимой приезжали». Парубок кивнул.

Как ей помнился этот позорный приезд. Мелкопоместные дворяне Шапорцы, живущие гораздо хуже многих мужиков, не говоря уж о казаках, огромная безалаберная орда, обитающая в темном и тесном домишке, имела ко всему тому черту, крайне притягательную для их компатриотов, ибо хохол от природы насмешлив и при любом удобном случае готов свою насмешливость проявить.

Чертой, столь лакомой для шапорцовских соседей, была их мнительность, застенчивость и нервная полохливость.

Домик их, чтоб не сказать конурка, стоял на отшибе, и стоило впечатлительным Шапорцам слышать звук колокольчика и увидеть приближающуюся к их обиталищу телегу или бричку, они тотчас, в шапках и без шапок, в тулупах, без тулупов, босиком, выскакивали всей гурьбой на крыльцо, взором, полным ужаса, глядели на приближающийся экипаж, затем мгновенно исчезали в доме и выманить кого-нибудь оттуда приезжему бывало не так просто.

Малороссы, как и россияне, считают весьма комичным наградить какой-нибудь предмет или явление его антонимом, то есть, по простому говоря, любят шутить от противного, что и послужило поводом для того, что жители местных сел посвятили робким Шапорцам нижеследующее четверостишие:

Шапорець, Шапорець,
Козина головка
Не боится ни людей,
Ни сирого вовка.

Марина помнила, что был сильный мороз, и на крыльцо, увы, выскочили все, и ее милый и добрый отец, так много знавший и рассказывавший ей в детстве чудесные сказки. И острая на язык, упрямая, самолюбивая тетя Христина. Никто, никто, кроме самой Марины и ее матери, не совладал с собой.

Ей было стыдно.

А потом долго раздавался неторопливый, но настойчивый стук кнутовища в дверь, отец и дядюшки кивали друг другу, иди, мол, открой,

но никто не шел, и ей снова было стыдно.

Впрочем, она к этому давно привыкла.

А потом спокойный, добротный и богато одетый Мацук вел разговор с мужчинами ее семейства, и как же они все кричали, волновались, заикались.

А младший Мацук, Яков, сидел на лавочке в сторонке, тоже красиво и тепло одетый, и не участвовал в деловом разговоре и не усмехнулся ни разу, только изредка поводил в сторону спорщиков спокойным хмурым глазом.

Белокурую девушку звали Килина. Марина подумала, что это имя ей идет, как и всё ей шло — звонкий, хрустальный какой-то смех и кудрявые пепельные косы, обвивавшиеся вокруг головы. Марина часто оборачивалась, ища ее взгляд, и взгляды их встречались, но ничего, как ни старалась наша панночка, не прочитала она в голубых больших глазах, ни презрения, ни жалости, ни приветия. А взглянув на парубка, стоявшего рядом с Килиной, — его звали Тимош — каждый раз встречала взгляд его лучистых глаз и снова думала: он добрый.

Она многих уже запомнила по именам, и шутки многие ей стали понятны, она и сама уже иногда отвечала на них, и ей совсем уж не хотелось уходить, а всё стоять, участвуя в этой странной беспечной игре, где ничего всерьез не говорится, где веселый твой расшалившийся взгляд перебегает от лица к лицу, как мячик, и вдруг — удар: внимательный тяжелый хмурый взгляд темных глаз, глядящих с хмурого лица, притягивающего своею тяжелою силою, и другие лица, и светлеющее среди них белое, с лучистыми карими глазами, и ничего не выражающий взор синих глаз.

Потом все как-то разошлись, кто в Шаповаловку, кто назад в Высокое, а Марина к дому. Было ей совсем не далеко, и она пошла не тропкой, а напрямик среди цветов и высокой травы, слегка пьяная от радости и возбуждения, от первой встречи со сверстниками, от пленительной игры в невидимый мяч. И, стараясь не помять цветы, брела в траве, отводя их бережно руками, и вдруг в спину ей ударил хрустальный четкий голосок: «Шапорец, Шапорец, козина головка, не боится ни людей, ни сирого вовка».

Тонкие полосы лунного света исчезли с половиц, куда-то спряталась луна и в каморке стало темно и душно. «Отчего ей захотелось обидеть меня?», — подумала она с испугом. — «Ей, такой нарядной, красивой, счастливой? Что ей за дело до дикарки, до жалкой замарашки? Чем я ей помешала? За что?»

В темной, душной каморке проклятого дома, а в дурные ночные минуты в девичью голову приходили и такие слова, стало жутко, захотелось закричать. Но тут внезапно снова прокатился невидимый

мяч, голова упала на подушку, губы улыбнулись — уже во сне — сон пришел мгновенный, молодой, счастливый.

Была бы она барышней, как все остальные, она писала бы, ликуя, в своем дневнике о блистательной сегодняшней победе, и о глупой маленькой блондиночке, так неприлично обнаружившей свою ревность. Будь она истинной барышней, имевшей умных и умелых воспитательниц, она, может быть, попыталась бы сделать самое трудное — что-то прочесть в своем сердце. Впрочем, умные воспитатели не советуют с этим спешить, предоставив дело времени, но отнюдь не случаю.

Но, увы, Бог не послал Марине бережных, разумных воспитателей, где же взять их в доме, где никто не уважает ни себя, ни своих близких.

Единственное, что послал ей Бог, это женское чутье, которое ей твердило, что, как ни странно, к ней равнодушны многие из тех парубков, что встретились ей возле леса.

Эта знаменательная встреча на опушке, длившаяся, может, полчаса, а, может, и все три, чего никто из участников не заметил, хоть их было там не меньше дюжины молодых людей и девиц, сыграла немалую роль в жизни моих юных прабабушек и прадедушек.

2

Конец мая, начало июня — нет прелестнее времени во всем году, таких огромных дней и бесконечных светлых вечеров, такой веселой мягкой теплоты, таких пушистых, легких, не загустевших еще темной зеленью веток. Это время радостного, доверчивого ожидания лета, это самое его начало, еще не скоро разгар.

И таким же милым, доверчивым, легким бывает начало влюбленности, и не начало даже, а предчувствие ее, пора, предшествующая началу. И лица кажутся красивыми, и люди добрыми, и шутки их смешными. Еще не наступило то, что знают все влюбленные, когда в толпе сразу бросается в глаза один лишь человек, и сердце бухнет вдруг оглушительно: «Он!» или «Она!» С мужчинами это тоже бывает, я совершенно точно знаю.

Куда бы ни отправилась панна Марина, выскочив из своей конурки на яркий июньский свет, тотчас ей встречался какой—нибудь парубок и приветливо желал ей доброго утра или доброго дня, а за ним вскоре еще один, и еще, и глаза у них светились счастливым оживлением, и оживление передавалось ей. А там встретится дивчина из новых знакомых — кругленькая веселая Одарка или тихоня Марфа — и остановятся подружки на минутку поболтать, а тем временем пройдет мимо дивчат Яков и так блеснет своими темными очами, что аж дух займется. И, конечно уж, не обойдется без того, чтобы рано или поздно

— а скорее рано, раньше всех других — не встретился Марине Тимофей, не взглянул мягкими карими глазами, вселяя этим взглядом в душу тишину, уверенность, покой. Кстати, уверенность на малороссийском языке обозначается чудесным словом «пэвность».

Как ни далеки были от шаповаловских и высочанских дел обитатели шапорцовской конурки, мало—помалу после Троицы и до них доползли кое-какие новости и коль скоро они касались члена их семьи, вызвали бурные споры за обедом, где говорилось много такого, что представлялось Марине обидным, невразумительным, а временами явным враньем.

— Губа не дура, язык не лопата, — веско произносил дядя Данило, обсасывая незаурядных размеров кость. — Породниться с девицей доброго дворянского рода, да к тому же и красавицей, а о приданом я уж не говорю.

— О приданом ты не говоришь, мой друг, резонно, — едко возражала нетактичная Христина. — Если приданого нет, зачем же о нем говорить?

— Зато дивчина красива, — оборвал ссору дед. Он не любил говорить о неприятном. — От воздыхателей отбою нет, так и вьются под забором. Кинешь палку в Серка, попадешь в Грицька.

Тетки, жены дядюшек, слушавшие с постными лицами о Марининых успехах, оживились.

— А хорошо ли это, — пропела тонким голосочком тетка Софья, — когда за девицей бегают целая свора кобелей... то бишь, простите, Бога ради, казаков?

— Поклонники не позор для девицы, если она ведет себя достойно, — неожиданно вступилась за девушку мать, почти никогда не участвовавшая в семейных спорах. — А Марина держится со всеми ровно и не выделяет никого.

— Так за всех разом, что ли, и замуж пойдет? — прошипела тетка Евфимия. — Ты уж, племянница, не таись, скажи, выделила ты там какого?

Марина густо покраснела и, опустив глаза, сказала:

— Не разговаривайте со мной так, тетя, я не стану вам отвечать.

— Ну чего привязались к девушке, — поддержал племянницу Данило. — Аж до слез довели. Ну, бабы... Будто бы тут и слепому не ясно. Два есть главных жениха, солидных: Яков Мацук и Тимофей Головань. Они и лучше всех и намерения серьезные имеют.

— За Мацука надо идти, — промолвил дядя Серафим. — Жених богатый и хозяин отменный. Старые люди уважают его.

— А мне Тимофей больше по сердцу, — мечтательно сказала мать Марины. — У них вся семья — хорошие, добрые люди. И сам он добрый парубок и красивый такой. Лицо светлое, аж светится.

— С лица воды не пить, — стоял на своем Серафим. Он, единственный хозяйственный во всей семье, уважал хозяйственного Якова.

— Нет, вы не правы, братец, — настаивала Олеся, Маринина мать, — Тимофей — хороший человек, это и по лицу, и по поведке видно. Говорю вам, светится он весь, а Мацук этот – у-у!

— А я стою за Мацука, — вмешался Данило, которого нет-нет да осеняла неожиданная мысль. — С таким поместьем женится на дворянке и дворянство может получить. Церкву построит или еще чего.

— Что-то не слыхала я, чтобы кто-нибудь из наших Шапорцов строил церкву, — вздохнула тета Христина.

— Цур тобі, поганий у тебе язык, сестрица. Вечно что-нибудь да скажет и всегда не то.

— Ну, будет, будет, — сказал дед, зевая и крестя рот. — Поели, поговорили, пора и на боковую. Что ж, дела, слава Богу, неплохи. Один жених побогаче, другой очень уж красивый. И, к слову сказать, тоже не из бедных.

— По сравнению с нашим именем, считай, богачи, — подтвердил Данило с важностью.

— Данилко, не скажи поперед батька в пекло. Оба женихи достойны. Пусть выбирает дитя. Только бы не сглазил кто.

Видно, слишком благостно для шапорцовой кухни закончился этот обед. Тетя Софья, уже стоя в дверях, произнесла с печальным вздохом: «Ох, не такое уж простое это дело — разобраться, какого выбрать из двух жениха. Наша панна Христина уж на что мудра, одного всего имела, а покудова он ездил за родительским благословением, так запуталась, что до сих пор в девках сидит», — и, произнеся эти слова, торопливо шмыгнула в сени, опасаясь, как бы скорая на расправу Христина не запустила в нее ситом или, не дай Бог, медной ступкой. Впрочем, Софью Бог на этот раз помиловал.

Марине давно уже хотелось узнать диковинную историю про Христинину помолвку, которая распалась без скандалов и измен, словно сама собой, таинственно и тихо.

Когда семейство вышло в сад и стало разбредаться кто куда, а Домаха поволокла для тети Христины в малинник ее любимый зеленый пуховик, Марина, уже прихватившая свое рядом, быстро сказала: «Тетушка, я с вами».

То ли тема о расстроеной помолвке еще висела в воздухе, то ли тетю Евфимию, жену Серафима, раздражал счастливый и сияющий Маринин вид, только Евфимия, она же Химка, не побереглась и елеиным голосом сказала: «Побольше пользуйся беседой тети Христины, Марисенька, и усваивай все ее наставления. Ты у нас теперь, можно

сказать, невеста, надо знать, как с женихами обходиться, если их, допустим, избыток или, наоборот, недостаток. Тетушка твоя Христина в этих делах большая мастерица. Даже если женихов не много и не мало, а всего один—единственный, она сумеет с ним так ловко распорядиться, что он прямо перед самой свадьбой словно некий глас услышит: «Полы режь и тикай!» И бежит раб Божий и не оглядывается аж до Полтавы или до самого Санкт—Петербурга».

В этом месте речи тетя Христина приблизилась к невестке с таким видом, словно собиралась что-то очень важное ей сообщить. А затем внезапным и резким движением правой ноги дала обидчице необычайной силы пинка в зад, или, выражаясь по-малороссийски, «стусана». Действие совершенно поразительное уже хотя бы потому, что тетя Христина стояла не позади тети Химки, а рядом. Тетя Химка рухнула на траву и покатилась к старой груше, а тетя Христя с удрученным видом произнесла торжественно и веско:

— Горе тебе, Химко, и так всякое быдло обзывает наше сословие голоштанным, но хотя бы в переносном смысле, так что постарайся уж, невестушка, впредь без панталонов не ходить.

В малиннике она долго вздыхала, поправляя зеленый пуховик, то ей бугорки какие-то мешали, то что-то кололо «в загривок».

Марина притаилась, сидя на рядне, и молча ожидала, когда закончатся все эти эволюции.

Но вот тетка устроилась наконец и сказала:

— Поспать после обеда мне, видно, нынче не удастся, судя по твоим любопытным глазенкам. Ведь тебе, я вижу, серденько, неймется узнать, что там за таинственная была у меня история с женихом и несостоявшейся свадьбой.

— А ничего такого уж загадочного в этой истории нет, — продолжала она грустно и серьезно. — История эта, племянница, совсем простая. Был у меня воздыхатель, служил он в Борзне, в уездной управе. Он был совсем юный, и я молода. Нравились мы друг другу до безумия, и так хорошо нам всегда вместе было, что, казалось, оба готовы никогда не расставаться. Он попросил моей руки у родителей и согласие, конечно, получил, ибо был достойный и порядочный юноша да к тому же, не в укор тебе будь сказано, доброго дворянского рода.

Взял он небольшой отпуск в управе, всего на неделю, чтобы съездить в отчий дом и рассказать там обо мне своим родителям, а вслед за тем намеревались мы объявить помолвку. Надобно тебе сказать, хотя ты, может быть, и не поверишь, что в те времена я была барышней чрезвычайно миловидной. Притом, однако, строгих правил, по сторонам не глядела, ждала прилежно своего жениха.

Но между тем с самых первых дней его отсутствия начала я в

себе замечать не то чтобы перемену к нему, он мне мил был по-прежнему, а вот почувствовала я, что его не люблю. Нет в моем сердце той самой любви, о которой рассказывают, что она сильнее любых препоны и может длиться всю жизнь.

Я тебе еще попроще объясню: раньше мне без него было скучно и полчаса, и даже пять минут, а тут день идет за днем, прошла уже неделя, а не скучаю я. И до того это меня смутило, до того обескуражило, что, когда возвратился из поездки мой суженый, я ему прямо все так и сказала: не люблю тебя, и свадьбе не бывать.

Он сперва вздумал ревновать, кто, мол, меня у него за неделю отбил, и попрекнул легкомыслием, но я продолжала ему всё своё твердить, и поверил он мне наконец и стал просить меня, чтобы я к нему вернулась и оставила бы все свои фантазии, и убеждал меня, что, раз нам так хорошо вместе, значит, нам и всегда так будет хорошо, и не нужны нам никакие препоны и великая любовь.

Он ходил ко мне, долго ходил и плакал, и на коленях стоял, и я плакала, совсем ведь девочкой молоденькой была, и он мне сильно нравился, но решения своего жестокого так и не отменила. Вот и вся история.

— А он женился, тетенька, потом?

— Женился, рассказывают, года через три. Он от нас в Полтаву перебрался, так что я с тех пор не видела его.

Марина глядела на тетку большими задумчивыми глазами; казалось, множество мыслей и сомнений одолевают ее в этот миг.

— Тетушка, а испытали вы когда-нибудь ту самую великую любовь?

— Нет, не пришлось, душа моя. Не встретился мне такой человек.

— Так вы, наверное, жалели, и не раз, о вашем женихе?

— Как тебе, милая, сказать. Вспоминала я его действительно не раз. Думаю, если бы встретила его потом когда-нибудь, я бы за него вышла. Но о том, что на пороге жизни я отказалась выйти замуж без любви, об этом я никогда не сожалела.

Марина тяжело вздохнула. Сорвала веточку зеленой малины и вертела в руке.

— Вот так-то, душенька моя. Ничего запутанного в моей истории нет. Проще простого. Только людям непонятна эта простота.

Господи, думала Марина, лежа вечером в темной каморке, ибо дневников, как мы уж знаем, она не писала. Господи, как же мало на свете людей, которым дана такая прямота и сила духа. А ведь тетя Христина отнюдь не была примером. Слыла она чудаковатой, не отличалась выдержанностью и вела себя порой в высшей степени предосудительно, чтобы не сказать дико. Так, может, и история ее с женихом — очередная дикость, о которой думать не стоит? Но не думать об этой истории Марина не могла, а думая о ней, дивилась

своей необычной тетушке и восхищалась ее чистой непреклонной душой.

Если бы у меня был один—единственный, да такой милый, так плакал и просил меня. Да ведь у меня и так один, спохватилась она. Что это мне вдруг причудилось, будто бы не один, а двое.

Каждое утро возле своего «поместья» — уж как он ухитрялся всегда там оказаться — встречала она Тимофея, омывала взгляд в светлом милом взгляде его карих глаз, и в душе у нее воцарялось становящееся все более привычным и необходимым чувство радости и покоя. И мать Тимоша глядит на нее добрым, приветливым взором. И родители Марины с каким-то родственным теплом говорят о Голованях, решительно отражая наскоки теток, которых хлебом не корми — дай только вспомнить коварно брошенную Тимофеем Килину.

Как она подурнела, бедняжка. Какими сухими и ненавистными стали ее глаза, еще недавно чарующие, как майское небо. Но ведь она никогда не была невестой Тимофея. Был грех перед сердцем, но не перед людьми. Да и велик ли грех — понравилась, разонравилась, как тот борзненский чиновник когда-то во время оно. Успокоился и женился через три года. Значит, и у него не было этой великой любви. Да и нужна ли она, великая любовь? Приносит ли она людям счастье? Может, счастливей те, кто друг другу просто милы? С кем радостно, спокойно, с кем чувствуешь эту надежность, пэвность?

Спать пора, спать пора, странные мысли вертятся в голове, разве можно сравнивать Тимофея, сильного, умного, красивого и надежного, с тем несчастным молодым чиновником, что плакал когда-то на коленях перед тетушкой Христиной.

3

Тетя Химка вернулась из лавки с умилением во взоре и такою миной, будто вдоволь наелась сметаны. Щеки ее пылали, что, впрочем, неудивительно, ибо день выдался на редкость жаркий. Правда, даже для такого жаркого дня были они слишком уж малиновы.

— Небось насплетничалась вволюшку о всяких мерзостях, — буркнула тетя Христина.

Сестрица Евфимия, она же Химка, с примерной кротостью на это ничего не сказала и оживленно принялась демонстрировать приобретенные в лавке тесьму и шнуры, чем привлекла внимание всей женской половины дома, кроме Христины, равнодушной к рукоделию, и Домахи, кормившей свинью.

День был ясен, сух и очень жарок и к вечеру не разразился дождем, а постепенно и приятно остудился. Заморенные духотой тесного, непроветриваемого дома, все обитатели его вскоре вышли и побрели

по саду, искать клубнику и пощипывать черешню, остальные же уселись на ступеньках крыльца, которые Домаха покрыла рядом.

— Прогуляемся, племянница, — ласково предложила Марине Химка, и они медленно двинулись по дорожке не столь уж малого запущенного сада.

— Как удачно получилось, что мы можем поговорить без помех, — сказала тетя Химка и неожиданно для себя закашлялась сухим долгим кашлем.

— Вам что—то в горло попало, тетечка?

— Ничего не попало. Першит и все... кхе, кхе, черт... Ну с чего это вдруг нападает на человека? — Тетя Евфимия обрела наконец голос.

— Так вот, — сразу принялась она за дело, вероятно, опасаясь, как бы вновь не вмешался черт. — Я сегодня, идучи из лавки, узнала одну вещь, которую непременно надо и тебе узнать как можно скорее.

— Что за вещь такая, тетечка, не томите?

— Ишь, развеселилась не ко времени. Плохая вещь, и нечего тут улыбаться. Посмешищем ты сделалась у всех. Стыд совесть потеряла, лезешь к молодому человеку, держишь себя с ним, как с женихом, а у него совсем другая на уме.

Тетя Евфимия, начавшая свою речь так умильно, теперь рубила сплеча, как фельдфебель, фельдфебельским же хриповатым баском.

Марина с сомнением покосилась на тетку. Никогда она в любимицах у Евфимии не была, и навряд ли тетя Химка так переживает за ее доброе имя, что чуть не давится от кашля.

— Это кому же я позволила с собой вольности, тетя? — гордо вскинула она головку.

— Тимофею своему, красавцу, — огрызнулась Химка. — А он и рад, что дурочку нашел, кхе, кхе, кхе, руки распустил, чего ж не позабавиться, коли девица позволяет, а ты, между прочим, дворянская дочь.

— Вы заблуждаетесь, тетя, — холодно сказала Марина, — пан Головань очень почтительно со мной держится.

А внутри заныло жалобно и противно. Было, было в последнее время и чем дальше, тем чаще — руки сами сталкиваются, сами ищут друг друга, то к плечу прикоснутся, то к рукаву, а один раз он ее даже тронул за косы. И ей совестно, она старается отстраниться, но ведь, если сказать честно, это нравится ей.

— А, покраснела! — возликовала тетка и сразу перестала хрипеть. — Почтительно он с ней держится, ишь, какая цаца. Что ты плетешь, твои же подружки над тобой смеются — у него невеста есть, а ты путаешься у него под ногами. Не до тебя ему, ты понимаешь, не до тебя!

— О чем вы говорите, тетя, какая у него невеста? Килина... да ведь он давно уж разлюбил ее.

— Ты у подружек у своих узнай про любовь, кого он любит, а кого никогда не любил. Тетке веры нету — к подружкам молодым сходи, может, они тебе растолкуют.

— К кому вы меня посылаете? Кто все это говорил? Дурочка какая — то с длинным языком.

Химка взглянула на нее с торжеством.

— Нет, не дурочка, совсем даже не дурочка.

— Да кто же?

— Марфа!

У Марины подкосились ноги. Марфуша Лебединец, пожалуй, в самом деле стала первой подружкой у этой девушки, выросшей среди странных и немолодых людей. И не в том даже дело, что подружка, подружки тоже разные бывают, всякие шпильки, колкости между собою говорят, и насплетничать могут одна о другой, и женихов даже отбивают. Но ведь Марфуша не такая! Она и понравилась Марине тем, что не похожа на других. Она серьезная, она справедливая. Чего ради стала бы она наговаривать чужой противной тетке Химке всякие гадости про свою подругу.

— Ишь, понеслась, — с удовлетворением сказала тетя Химка, глядя вслед Марине, которая, поспешно накинув платок, скорым шагом направлялась к калитке.

Марфуша была худенькая, с веснущатым бледным лицом, добрыми голубыми глазами, слегка навывкате, огромным выпуклым лбом и белыми, как лен, волосами. Гора белья, которое ей предстояло раскатать, напомнила Марине те сказки, где героине, чтобы добиться счастья — выйти за царевича и избавиться от недоброжелательной нечисти, надо переделать множество неисполнимых дел.

— До ночи будешь работать?

Марфуша кивнула. Они помолчали. Потом Марфуша подняла по подружку свои выпуклые добрые глаза, улыбнулась слабой улыбкой и сказала:

— Сидай.

И опять подруги молчали, чего не бывало раньше, и Марина с каким-то чуть ли не страхом заметила что-то новое в лице Марфуши. Не скверное, не лживое, не злое — совсем нет. Просто новое.

— Марфуша, — решила она наконец. — Это правда, что сегодня ты... разговаривала с моей... родственницей обо мне и о... Тимофее? — Она все время запинаясь.

— Правда, — коротко ответила Марфуша.

— И ты сказала обо мне все эти... унижительные вещи?

Марфуша старательно катала длинное вышитое полотенце. Потом ответила, не поднимая головы:

— Надо знать правду. Если правду не знать, ты все время будешь унижаться.

— Но откуда ты взяла, что это правда? Он ведь ходит за мной целые дни и совсем не видится с Килиной.

— А это неважно, — сказала Марфуша, приподняв белесые бровки. — Видит он ее или не видит, всё равно она в его жизни главная. Кроме нее, ему никто не нужен.

— Откуда ты знаешь? Объясни мне, я прошу тебя. Я же твоя подруга.

— Мало ли что подруга. Я ничего плохого не сделала. Просто я сказала тебе правду.

— Правду, правду, хорошо, — все сильнее волновалась Марина. — Но почему ты так уверена, что это правда?

— Потому что я точно знаю, — твердо произнесла Марфуша и посмотрела Марине прямо в глаза долгим взглядом выпуклых бледных глаз.

Марина чувствовала, что надо встать и уйти, но не могла пошевелинуться.

— Зачем ты тетке моей сказала, а не прямо мне? — спросила она, чувствуя себя неуклюжей, глупой, тяжелой.

— Разговор у нас с ней такой получился. Но тебе я всё сказала прямо. Из-за того, что ты моя подруга, я не могу неправду говорить. Это была бы нечестность.

Марина встала наконец.

— До свиданья.

— До свиданья, — сказала Марфуша.

И опять Марина увидела в ее лице то, что, может быть, было и раньше, но она этого как-то не замечала. Что-то плохое? Нет, нет, не плохое. А какое же? Трудно сказать.

— Не провожай меня, — сказала она тоненько, — у тебя столько работы.

На улице уже темнело. «Зачем я ей сказала, что у нее много работы? — подумала она с досадой. — Пожалела бедненькую, да еще таким писклявым голоском, будто мне ее ужасно жалко. Нет у меня гордости, совсем нет, вот и Тимофей меня не уважает. У Килины есть гордость и у Марфуши, конечно, есть, только я не такая, как все».

В конце улицы появился Тимофей, и даже в сумерки было видно, как засветились радостью его глаза. Марина торопливо свернула в закоулок между дворами.

Как мучительно длинен был этот вечер. Как долго ужинали. Как

медленно говорили. Марина все смотрела на старинные напольные часы — стрелки совсем не двигались. Потом она себя заставляла долго, долго не смотреть на стрелки и, когда уже совсем не оставалось сил, быстро взглядывала на часы и видела, что прошла одна минута.

Все сердились на Марину в этот вечер, что проходила неизвестно где до темноты, что не отвечает на вопросы, а если отвечает, то невпопад, и даже маменька, всегда кроткая и ни во что не вмешивающаяся, сказала: «Ну, голубушка, мы тебя вконец избаловали».

Но Марине было всё равно. Она ждала, когда всё это кончится, все разойдутся, и она останется наконец в темной каморке наедине со своими мыслями, совсем наедине, ибо Домаха спит так крепко, что ее можно не считать.

И дождалась она этой несчастной ночи, и начались терзания, такие невыносимые. Странно: их немного смягчало воспоминание о взгляде Тимофея, встреченного в сумерки, когда шла от Марфуши. Смягчало самую малость, но, откровенно говоря, и настолько не должно было смягчать. Много ли значит игривый взгляд, брошенный молодым человеком на легкомысленную девушку, лишенную уважения к себе!

Господи! Как много в один вечер она потеряла. Потеряла мечты о счастье, потеряла любовь. Потеряла милого, красивого, близкого, с которым хотелось всем поделиться, обо всем ему рассказать. Потеряла надежду вырваться из этого чумного дома. Даже подружку потеряла она — добрую, умную, всё понимающую. Не жалеет ее больше подружка, не желает она больше ее знать. Из всех Марининых терзаний, может быть, не самым горьким, но самым жгучим, самым пекущим было то, что она осознала себя не такой, как все остальные. Вот разные девушки — красивая нарядная Килина и некрасивая бедная Марфуша, но все они входят в одно сообщество — достойных девушек, и все они, богатые и бедные, красивые и некрасивые, выйдут когда-нибудь замуж, все, кроме нее, потому что она не такая, как остальные.

В щели ставен пробрался рассвет, и Марине вдруг невыносимо стало тут — в темной комнате, с темными мыслями. Она тихонько оделась, тихонько вышла из каморки, спустилась с крыльца.

В саду было светловато, прохладно. Марина даже хотела вернуться за платком, но лишь плотнее закуталась в кофту. Ноги стыли от росы, мокрые ветки цепляли ее на ходу. Было холодно, красиво, звонко, и вдруг очень захотелось есть.

«Что я за дурочка такая? — думала она, торопясь к огороду. «Тут жизнь, можно сказать, кончается, а мне абы поесть».

Под забором на пеньке, насквозь мокрый от росы, сидел Тимош и грыз морковку.

— Здравствуй, серденько, — сказал он. — Ты за что на меня

рассердилась?

— Откуда ты взялся?

— Я всю ночь тут сижу. Как увидел, что ты злишься на меня и унырнула в какой-то овраг, так сразу сюда. Только крикнул матери в окошко, чтоб не ждала.

— Ты простудишься, ты заболеешь.

— И умру. Туда мне и дорога. Зачем мне жить на свете, если звездочка моя меня не любит. Словно кошка какая-то, шаст в сторону, только бы не видеть моей мерзкой рожи. Чем я провинился, серденько, скажи?

— Ты не любишь меня. Ты просто забавляешься мной, потому что я держусь не строго.

— Дуже цікаво. А кого, позвольте полюбопытствовать, я люблю?

— Сам знаешь кого, Килину.

— Так, понятно. Хоть узнал, кого люблю. А почему я к ней сватов не засылаю, ты, может, тоже знаешь?

— Ты боишься подступиться к ней. Она очень строго себя держит.

— Килина?

Тут Тимофей расхохотался и так долго и весело хохотал, что Марина, которую уже достаточно давно стали покидать терзания и тревоги, сердито топнула ногой и сказала: «Не смей гоготать, это неуважение и к ней, и к себе самому, и ко мне, между прочим, тоже».

— Прости, серденько. Но если бы ты, недотрога, знала, до чего вы в этом с ней не похожи.

— Я ничего не хочу знать. Я морковки хочу.

Они сидели на пеньке вдвоем, закутанные его мокрой свиткой, и он кормил ее, как кролика, морковкой, и она, как кролик, ела прямо из рук.

Уже договорились в ближайшие дни засылать сватов, Тимофей изобразил в лицах, кто как будет выглядеть на свадьбе, и лишь один вопрос остался без ответа.

— Какая гадюка тебе все это наговорила? Так и не скажешь? Ладно, спасибо вам, пани гадюка. Я без вас еще недели две бы не решался. Очень уж ты, сердце мое, неприступная. Глядишь на тебя и никак не поймешь: то ли любишь ты меня, то ли тебе просто весело.

4

Сказать, что на Украине любят новости, было бы верно, но не совсем точно. Необходимое уточнение таково: на Украине новости, бесспорно, любят, но сообщать новости там любят превыше всего.

Помню, в деревне на Полтавщине умер человек по фамилии Сова. К концу рабочего дня об этом знали абсолютно все, за исключением старика—хозяина, у которого мы снимали флигелек. Он задержался

где-то по делу и позже всех возвращался домой. Хозяйка, словно часовой, несла у частокола караульную службу в ожидании, когда покажется ее неинформированный дед. Наконец его фигура возникла из-за угла. Старуха так и подпрыгнула.

— Сэмэн! — закричала она торопливо, озабоченно оглядываясь, не притаились ли где конкуренты. — Сэмэн! Совы нэмае!

— А дэ ж вин? — довольно хладнокровно осведомился дед и поправил картуз.

— Дэ? — ликуя, вскричала хозяйка, продолжая прыгать, чтобы колья не помешали ей разглядеть реакцию супруга. — Дэ? — иронически повторила она. И торжествующе крикнула: — Вмэр!

* * *

Среди новостей, которые тем давним летом волновали, радовали, огорчали и удивляли жителей Высокого, Шаповаловки и прилегающих деревень, была одна, которую, несомненно, можно было отнести к разряду хороших. Особенно обрадовала она Марину, ее родителей, тетю Христину, а, по чести говоря, была приятной почти для всех Шапорцов. К унижению, говорят, можно привыкнуть, но даже часто унижающийся человек испытывает удовольствие, если ожидаемое унижение его минует.

Марина оказалась не бесприданницей. Когда взъерошенные и торопливые старшие Шапорцы и спокойные, неспешные старшие Головани уселись, чтобы выяснить наконец вопрос о приданом панны Марины, обнаружилось, во-первых, что означенная панна является единственной наследницей имения, в настоящее время пребывающего во владении многочисленной семьи, старшему из которой было 89 лет, а, возможно, 98, самой же младшей, не считая Марины, сорок семь.

Имение включало в себя дом, сад, земельные угодья, находящиеся в разных степенях запущенности. Особенно запущенным было поле, по традиции именуемое пшеничным, которое никто не возделывал вот уже тридцать лет. Имение не было заложено. На нем не числилось долгов. Все налоги платились исправно, и документы были в полном порядке.

— Такие расхристанные, а гляди ж ты, — изумленно произнес шурин старшего Мацука Шерембей, заглянувший к своякам в гости.

— Такие расхристанные как раз сплошь и рядом боятся опоздать хоть на день с выплатой долга или положить самую пустяковую бумаженцию не на место, — сказал его племянник Яков. — Я это уже не раз замечал.

— А откуда они всё же деньги брали на налоги, если ничего не делают, только лаются между собой? — спросил дядюшка, столь же

татарковатый, как племянник.

— Кто лается, кто работает, — рассудительно ответил Яков. — Это только нам со стороны кажется, будто они все на одно лицо, потому что все время орут. Вовсе и не все. Серафим, к примеру, хороший рыбак, и пасека у него отличная — двадцать ульев. И даже те, кто орут, случается, приносят пользу. Старые тетки ихние на огороде как сороки верещат, а огород содержат в порядке.

— Ты, я вижу, внимательно приглядывался к их хозяйству, — не без насмешки сказал отец. — Может, тоже намерение посвататься имел, а Тимош тебе перебежал дорогу?

Яков молча взглянул на отца, и в его азиатских глазах на миг вспыхнуло что-то такое, отчего старику стало вдруг не по себе и даже страшновато. Это было тем более странно, что никакого разговора о подобном сватовстве у них сроду не случалось, даже в шутку. Это было не очень разговорчивое семейство. Хотя и не чуждалось шуток.

— Ну что ты уставился на меня, как на сатану? — преодолевая неловкость, сказал отец.

— Ой, было бы о чем толковать, — насмешливо пропела мать Якова, которую в селе все называли Шерембеиха, хотя она уже тридцать лет носила фамилию Мацук. — Пасека у них там есть и огород — подумаешь, приданое. Да за Якова любая пойдет, такую можем найти, и с приданным настоящим, и с лесом, и с озером, а не с какими-то там ульями, и красавицу.

— Где ж ты видела такое совершенство? — заинтересовался брат.

— Килина Людкевич. Очень хорошая невеста.

— У них не озеро, а пруд, — медленно произнес Шерембей. — И характер у дивчины невозможный. Не зря же от нее Тимош сбежал.

— Тимош сбежал потому, что влюбился в Марину, — неожиданно подала голосок Олена, пятнадцатилетняя сестрица Якова.

— Такэ малэ, а тоже что-то разумеет про любовь. Сиди уж тихо, — буркнул отец и добавил: — Повезло девке.

— А может, это Тимошу повезло, — еле слышно не сказал даже, а выдохнул Яков.

И так же тихо, почти беззвучно откликнулась мать:

— Что же ты ее не домогался, сыночек? Может, нашему бы дому повезло. Привел бы в нашу избушку царевну.

Ее лицо стало темно—багровым. В сузившихся щелочках глаз дымилась ярость.

— Вы бы съели ее тут, — сказал Яков.

Мать схватила со стола стопку тарелок, с размаху бросила на пол и выскочила из горницы.

Яков медленно встал.

— Куда? — спросил отец.

— В контору.

— Да, пора уже, — согласился отец. — За сегодня там разберешься?

— Конечно. До свиданья, дядюшка.

— Будь здоров, племянник.

Олена нерешительно поднялась и двинулась к груде осколков. Яков резко сказал:

— Не тронь эту дрянь. Еще пальцы порежешь. Я хлопца сейчас пришлю.

— Серьезное у вас семейство, — сказал дядюшка Шерембей.

Никто не возразил ему.

5

Есть украинская сказка про сову, которая искала своих совят. Ее знают многие и давно знают, ее рассказывают в семьях бабушки, родители, деды. Мне рассказала ее бабушка. И я ее рассказала сыну. А моей бабушке рассказывала эту сказку ее мать, моя прабабушка Марина. Мать Марины, Олеся, не рассказывала дочке сказок, и девочка узнала ее от отца, он рассказывал ее слегка нараспев, тонким тенорком, чтобы жалостнее выходило. Так она и запомнилась ей.

Потеряла сова своих совяток. Летает и всех спрашивает: «Не видели ли вы моих деток?» «А какие у тебя детки, как они выглядят с виду?» «Прекрасные детки, — сова отвечает, — ушастенькие, глазастенькие, носастенькие, самые красивые на свете». «Нет, таких мы не видали».

И опять сова летает и снова допытывается: «Люди добрые, не видели вы моих деток?» И опять ее просят описать подробно, какие из себя ее дети, и опять она твердит, что ее дети — самые лучшие на свете, самые красивые, ушастенькие, глазастенькие... «Нет, таких не видали».

А потом кто-то сказал: «Тут птенцы какие-то в траву упали, только они никак на твоих не похожи, уж такие страшные, такие безобразные, совсем уроды».

Полетела сова взглянуть на безобразных птенчиков, а они и в самом деле настоящие уроды, с большими глазищами, с мохнатыми ушами и здоровенными клювами. Увидела сова этих уродцев и так обрадовалась: «Деточки мои. Нашлись мои детки. До чего же хорошенькие, до чего красивые, ушастенькие, глазастенькие, носастенькие, самые лучшие на свете».

* * *

Жарко, ветрено. Через обожженную солнцем степь течет, струится

узкая, бесконечная, серая дорога. Высушенная солнцем и размельченная ветром дорожная пыль удивительно мягка и глубока — в ней утопают ноги. Эта тонкая, пушистая, летучая пыль неожиданно горяча — она вполне чувствительно обжигает ступни даже тем, кто привык ходить босиком.

В это время года по дороге почти никто не ходит. Вот и сейчас видна одна—единственная женская фигура, тонкая и высокая, закутанная в какой-то балахон. Женщина движется с запада на восток по горячей мягкой дороге. Вот она поднимается на невысокий холмик, спускается с него, становясь на несколько минут невидимой, идет дальше, дальше, теперь она уже так далеко, что нельзя разглядеть, что она высокая и тонкая, — просто женщина и всё, уходит и уходит вдаль. А потом уже не разглядишь, что идет женщина, — просто человек, но, конечно, не свинья и не корова.

Правда, свиньи и коровы редко совершают в одиночку столь длинный путь на пустынных степных дорогах. В здешних местах, пожалуй, почти никогда и не встретишь одиноко бредущую живность, разве только ведьма изредка со скуки обернется лошадью или кем ей там будет угодно, чтобы развлечься, разогнать степную тоску.

Женщина тем временем ушла так далеко, что не похожа уже была ни на какое живое создание, а на значок какой-то, странную, неведомую букву.

Так долго она идет, а никого не встретила до сих пор. Правда, вот сейчас, совсем недавно, на дороге появилась темная точка, которая толи стоит на месте, толи движется — интересно: к ней навстречу или от нее? Точка движется вверх, ибо дорога полого подымается здесь от какой-то впадинки, рядом с которой видны несколько лесистых балок, неожиданно прочертивших тут степь.

Женщина шагает по мягкой пыли, чувствуя некоторую усталость, правда, небольшую, ибо жару она переносит легко и двигаться ей легко, она же совсем молодая, еще девушка, притом счастливая невеста — наша Марина и сама вызвалась сходить вместо дяди Серафима на бахчу, и ей нравится идти, идти, немножко думать, немножко не думать.

Черная точка, как выяснилось, не стояла на месте. Она двигалась — к Марине. Поскольку они идут друг другу навстречу, черная точка приобретает очертания быстрее. Она тоже становится похожа на удлинненную букву. Еще немного времени и уже ясно, что это человек, и довольно скоро можно разглядеть, что это мужчина среднего роста. Марина всматривается в него, кто такой — знакомый, незнакомый. То ли знакомый, то ли незнакомый, пока не поймешь. Молодой, не очень высокий. И вдруг сладкая, сокрушительная, обессиливающая радость, словно приступ лихорадки, хватает ее, и все дрожит внутри, и даже

зубы лихорадочно постукивают, и она боится, что не сможет ни слова сказать.

Что с ней, сглазили ее, опоили? Разве была ее раньше лихорадка, когда она встречала его? Била, била, не брешь себе, дивчина. Била, но ведь не так. И сердце вздрагивало, и дыхание перехватывало. Было, было это, но всё же не так.

— Здравствуйте, пан Яков, — говорит она.

— Здравствуйте, панна Марина.

Она ждет, чтоб он ее поздравил, что-нибудь сказал о теперь совсем уж близкой свадьбе. Он молчит. Почему они оба так долго молчат?

— Как живешь, Яков? — спрашивает она, зубы у нее не стучат, зато губы с трудом шевелятся.

— Хорошо живу. Спасибо, — отвечает он.

Как странно все. Он не двигается с места, стоит и глядит ей в лицо. И она стоит, будто так и надо, и всматривается в виденное столько раз лицо. Что с ним? Он похудел. Он страшно похудел. Его же узнать невозможно. Лицо так осунулось, что нос кажется большим, и глаза тоже большие и какие-то новые — грустные, большие, темные глаза. Как его жаль. Как болит от этой жалости сердце. И горло — жалость сжимает его как рукой.

— Как ты похудел. Ты болен, Яков? Господи, что с тобой, почему ты так похудел?

— Ты спросила, как я живу, — говорит Яков. — Я не живу. Вот уже целый месяц не живу.

— Целый месяц?

— Да. С того самого дня, как объявили твою помолвку, — он наконец отводит взгляд. — Дай я тебя провожу. Поговорим немного. Это мы хоть можем?

— Можем.

Потупив головы, как обреченные, они бредут в ту сторону, откуда он пришел. На руке у него плетеная корзинка, прикрытая полотном. Жалость бьется в горле, сжимает сердце. Боже, Боже, как же это так.

— Ушастенький, глазастенький, — шепчет про себя Марина.

Он вдруг резко останавливается:

— Дивчина, что ты натворила? До свадьбы восемь дней.

— Я, я натворила, — жалобно говорит она. — Ты большой, ты умный, сильный и ты никогда не замечал... — Она вдруг замолкает. Да ведь она Тимофея любит. Любит и всегда любила. Что должен был он замечать?

— Яков, прости меня, — говорит она. — Ты не виноват, совсем, совсем не виноват... — Они ступают тихо по мягкой дороге, тихие, усталые, в серой пыли. — Ты ничего не мог. Но скажи: что же это с

нами такое?

— Пыль остывает, — говорит он, — была горячая, как зола, а теперь гляди: еле теплая стала.

— Ты это что — про нас с тобой? Ты думаешь, всё пройдет, остынет?

Приподняв бровь, он быстро с любопытством покосился на нее:

— Тимош вирши сочиняет? Я и не знал.

— При чем тут... — начала было она и неожиданно рассмеялась.

— Ой, Яков, ну такое в голову придет... Так все время ходишь и к нему ревнуешь.

— Так все время хожу и ревную.

Они спустились с пригорка и вошли в зеленую балочку, такую красивую после пыльной дороги, в пышных пахучих кустах. Не говоря ни слова, сели на ствол сломанной березы.

Марина подняла глаза, удивляясь, что он молчит. Он глядел на нее пристально, с какой-то робкой жадной нежностью. В таких случаях говорят: наглядеться не мог. И она глядела в чудные темные глаза, на изломанные резко брови, на похудевшее, из-за нее похудевшее и от этого особенно милое, как всегда, притягивающее своей значительностью лицо.

— Милый, любимый, что мы с тобой натворили. Как могли не заметить.

— Всё я замечал, — сказал он. — Тогда у Фроси на вечерницах ты так смотрела на меня. Не понимаю, как Тимош мог не увидеть.

— На тебя тогда все так смотрели.

— Так, да не так. Я бы заметил, если бы ты на кого другого глядела такими глазами. Да и не один же раз. Ты ведь всегда меня сразу чувствовала, еще издали.

— Так чего же ты?

— Чего, чего? Ты его сразу выбрала из нас двоих. И правильно выбрала. С ним тебе будет хорошо. И родители его хотят, чтобы ты к ним шла.

— А твои?

Он покачал головой. Ах, какое было у него в тот миг лицо, такое недоброе, такое несчастное. Она провела по его лбу пальцем, и глаза его стали мягкими, морщинки разгладились.

— Зиронька моя ясная, — сказал он с такой нежностью, будто она была малым ребенком. — Милая моя, хорошая, самая лучшая.

— Ушастенький, глазастенький, — она попробовала улыбнуться и вдруг заплакала.

— Не плачь, мое серденько, я всегда с тобой буду, я всегда тебя буду любить, на ком бы я ни женился, я буду любить тебя до последней минутки.

— Ты на Килине женишься?

Он неохотно ответил:

— Хотят посватать. Но я не скоро женюсь.

И опять они сидели тихо, глядя в лица друг друга, осторожно прикасаясь пальцами к бровям, щекам, глазам.

— Я бы мог тебя отсюда увезти далеко—далеко, но ты сразу выбрала его, и я понял: правильно сделала.

— Но ты же знал, что я тебя люблю?

— Я живой человек. Ревновал, сомневался. Но уж конечно, я тебя лучше понимал, чем ты сама себя разумела.

— И ты не мог ничего сделать, не стал сражаться за меня?

— Трудно было сражаться, почти невозможно. Все козыри достались Тимошу. Ты же сама не замечала, серденько, что, как только я пытался повоевать за тебя, ты меня тут же отталкивала.

— Я не любила тебя, Яшенька? Я не понимаю. Я только теперь тебя полюбила?

— Не расспрашивай, моя хорошая, моя умница. Всё ты понимаешь не хуже меня.

— А если я захочу убежать от них от всех с тобой?

Он посмотрел на нее пристально, долго. Не всякая женщина видела хоть однажды такой взгляд. Взгляд мужчины, готового всё сломать в своей жизни, но затененный тоской неверия.

— Если ты захочешь, я уведу тебя даже в день свадьбы. Только, боюсь я, этого не будет.

6

Шерембеиха не ожидала сына к вечеру. Поездки длинные, да и от дома далеко. Скорей всего, Яков где-то заночует. Но когда ранним полутемным утречком завертелось колесо их большого, сложного, налаженного хозяйства, захлопало дверями и калитками, застучало железьяками, зацокало копытцами, зашаркало подошвами босых ног, она быстро собралась и заступила на свое место, низенькая, плотная, поворотистая, всё успевающая на всех своих постах, и нашла—таки время, как и всегда находила, нет—нет да и бросить на дорогу взгляд блестящих, узких, цепких глаз — где он, сыночек, идет уж?

Он появился в поле ее зрения примерно как ожидалось, ни раньше, ни позже, быстро шел по бровке холма, и словно длинная раскаленная иголка прошила сердце матери, он был совсем другой! Всё в нем переменялось, она увидела это в первое же мгновение, какая-то легкая веселая сила несла его.

«Ой, лихо, — подумала Шерембеиха, смятенно глядя на похорошевшее лицо сына. — Ой, не уберегла».

Яков действительно не верил, что Марина бросит жениха и согласится на побег. Он не верил, провожая ее к дому ее родственника Ивана Шапорца, не верил, глядя ей тоскливым взглядом вслед, когда она шла от калитки к хате. Потом с головой окунулся в дела, с кем-то договаривался, кому-то отказывал, потом уснул, еще и голову не успел опустить на душистое сено, высокой подушкой покрывшее воз, а Панько, работник, почти в тот же миг уснул на козлах, и не видели они, ни тот, ни другой, какие роскошные звезды сверкали над их головами.

Яков спал крепко и, наверно, долго бы еще проспал, как вдруг внутри его толкнуло радостное слово «любит» (многие гораздо чаще знают, как проснешься неожиданно и раньше времени оттого, что сердце твое вдруг толкнут печальные слова: «Плохо. Всё плохо»).

Звезды уже не сверкали, они были бледные и тихие, словно сонные малые дети. Похолодало перед утром. Яков лежа облокотился на руку и глядел, как плывут мимо силуэты каких-то сосен, большая, показавшаяся незнакомой, поляна. Он не шевелился, он не торопился никуда, только, привстав, сдвинул Паньку, чтоб не сверзился с воза, и опять лежал, смотрел на звезды, исчезающие одна за одной, на темные, всё больше различимые деревья.

Прекрасное чувство покоя и душевной полноты осеняло его. Медленно тащился воз, светлело. Яков впитывал в себя все, что плыло мимо, вдыхал холодноватый предрассветный воздух.

Всё хорошо, всё так, как надо, думал он и лежал, наслаждаясь холодноватым бледным утром, запахом сена, покоем, зная, что в одну прекрасную минуту он ринется, словно пловец в высокую волну, в сложные, почти невыполнимые дела и сделает всё, всё, что надо, и не пропустит ту минуту. Волна, минута приближалась, он не торопил ее и не боялся, он отдыхал.

К тому времени, когда он встретил матушку, он успел уже кое—что сделать, порядочно успел сделать, съездил к разным людям, а точнее сказать, слетал верхом, с кем-то успел поговорить, с кем-то условился о встрече, где-то навел справки.

Сейчас, счастливый, голодный, он шел по бровке холмика к дому и поклонился матери, без дела не сидевшей, как всегда.

— С добрым утром, мамо! — окликнул он ее ласково и весело и так непривычно.

Шерембеиха в ответ молча поколыхала не парадным, домашним, но высоким, как всегда, очипком и подумала, — «Не допушу».

В тот же день, примерно около полудня и примерно к этому часу ожидаемая, вернулась в отчий дом панна Марина. Она сидела на

облучке большой телеги рядом с дядюшкой Иваном Шапорцом, а телега была гружена арбузами, дынями и отчасти тыквой. Ничего необычного для обитателей Шапорцовской конурки ни в личности возницы, ни в поклаже экипажа не содержалось — все и так знали, что племянницу привезет Иван, а на телегу нагрузят именно арбузы и дыни.

Тем не менее всё семейство, как ошпаренное, выскочило на крыльцо, издали гулко поприветствовало кузена, а затем уж, чисто по привычке, скрылось в недрах дома, где и застыло в недоумении. Уж казалось бы, кого-кого, но Ивана и Марину можно было впустить в дом без дальнейших дискуссий.

Самой рассудительной оказалась Христина.

— Совсем уж от безделья очумели, — проворчала она, несколько смущенная, ибо очумела вместе с остальными. И, чтобы скрыть смущение, добавила сердито: — Так и быть, схожу открою ворота, а вы хоть рожи свои заспанные умойте.

Опробовали две-три дыни с Иваном, потолковали о жаре, отсутствии дождя, ценах на коноплю и сглазе.

Марина сидела тихая, неприметная, и при дядюшке и по его отбытии. День был как все, ничем не примечательный, и перемена в Марине не была примечена никем, ибо каждый член семейства жил бурной внутренней жизнью, Марине же весьма легко было стать неприметной — просто у нее не сияли глаза, и лицо не выражало оживления.

Первым, кто заметил это, оказался Тимош, завернувший поближе к вечеру. Этот быстро во всём разобрался — и что Марина невеселая и, вроде, чем-то озадачена, и что ей крайне нежелательны сейчас жениховские выражения нежной приязни. Он не мог понять, в чем дело, но всё, что он увидел, огорчило и встревожило его.

— Перегрелась! — весело воскликнул он, скрывая боль и смуту. — Такие деликатные создания не для того сотворены, чтобы шаркать двадцать верст босиком по пыльной дороге. Да еще завернувшись с головой в старую свитку дяди Серафима.

— Так это ж я от солнца, — слабо улыбнулась Марина. — Ведь дядюшка Серафим себе специально пошил свитку из самой легкой материи, чтобы ходить по болотам в летнюю жару.

— Истинная правда, — подхватил Тимош. — У болотных кикимор такие свитки в большой моде. Это еще счастье, что ни одна из них не напала на тебя и не содрала своими лапами с тебя столь завидное сокровище.

— Что за мерзости ты говоришь, Тимош, — шутливо рассердилась Марина. — Мне теперь их лягушачьи лапы будут сниться всю ночь.

— Ах, так ты их всё же повстречала, — оживился Тимош. — Лапы, говоришь, лягушачьи, тут разные мнения есть... А я-то думал, на той

дороге ты ни души не встретишь, где еще такой чудак найдется, чтобы в самую жару степным шляхом идти.

Улыбка тут же погасла на лице Марины, печальными, тревожными стали глаза.

Тимош, стараясь не показывать испуга, исподволь вглядывался в ее лицо, нес такую чушь, что оторопь брала, и рассмешил—таки свою невесту вторично, рассказывая, как лишенный свитки дядя Серафим, которому срочно надо было сходить на гумно, отправился туда в белой шляпе с вуалью и кружевным зонтиком в руках.

Так и длилась эта встреча обрученных в веселых и шуточных разговорах, и весь вечер, то оживляясь, то вновь огорчаясь, Марина непрестанно думала, что надо сказать жениху одну—единственную фразу: «Нам нужно поговорить».

Сперва сказать, а вслед за тем с ним объясниться, как сделала когда-то, не терзаясь сомнениями, тетя Христина. Но не могла Марина делать людям больно и так и не решилась начать этот ужасный разговор. Надо ли, подумала она, оправдываясь перед собою, так уж спешить и сваливать на Тимоша такую боль. Отложу все это на день, на два, за это время появится Яков, и тогда поговорим.

Вечер прошел мирно, никто так—таки ничего и не заметил, только Христина, топая на свой чердак, он же мансарда, он же горище, покачивала головой, на мансарде же, облачившись, наконец, в капот и растянувшись на своем бугристом канапе, хмуро подумала: «Всё, вроде, так, да не так, а как, сам черт не разберет».

Тут в дверь раздался тихий стук и вошла вся в сером, с пепельным бледным лицом и серыми глазами тихая, как мышь, Олеся, когда-то первая красавица, как утверждают некоторые, теперь совсем уж пожилые господа, не только уезда, но и всей Черниговской губернии.

— Садись, сестрица, мышка серая, да здесь и прилечь можно, — гостеприимно постучала Христина по буграм канапе. — Укладывайся; на моем роскошном ложе можно черт-те сколько народу уложить.

Но Олеся никогда не лежала в бодрствующем состоянии. Слабо отмахнувшись от нечистого, все упомянутого золовкой, она присела в ногах постели и глуховатым шелестящим голосом спросила:

— Что-то мне сегодня показалось... Ты ничего не заметила, сестра?

— А ты что заметила? — быстро спросила Христина.

Олеся, не желавшая или не решавшаяся говорить первой, но вынужденная настойчивой золовкой, проявила несвойственный ей обычно сарказм:

— Я думаю, золовушка, тебе бы говорить было сподручней. Я, в отличие от тебя, свидетельницей тех давних сцен не была. Но мне показалось, что нынешний вечер мог быть похожим на те, когда

небезызвестный кавалер стоял на коленях. Правда, Мариночка наша характером не в тетку, еще не сказала ему твердого нет.

Христя так и подскочила на постели.

— Вот! Тихая, тихая, а разом всё сообразила. А я, дура старая, сижу и думаю: что-то то, да не то, хотя, как ты совершенно справедливо, душа моя, изволила заметить, вечер нынешний весьма напоминает те, памятные для меня.

— Что же это может быть? — задумчиво промолвила Олеся. — Испугалась перед самой свадьбой? Разлюбила или думает, что разлюбила? Ну, говори, ты же всё знаешь про эти дела.

— Что могу я знать, — удрученно сказала Христина. — Я же не царица Савская, а просто старая индюшка. Многие девушки робеют перед свадьбой. Но я-то не робела. Я понять этого не могу, как можно оробеть. Тем более такой красавец, такой лихой казак, как Тимофей. Он и добрый, он и умный, а сдержанный какой — смешил весь вечер нашу Несмеяну.

— Вот и он заметил, — печально прошелестела Олеся. — А все—таки это не робость. Нет, она, моя дочурка, всё время отталкивала его.

— Вот уж ни за что не стала бы, — с жаром сказала Христина.

— То есть как не стала, ты же отвергла своего.

— Э, — сказала Христина. — Парень парню рознь. Тимофея я бы не отвергла.

— А разве тот был нехорош? — улыбнулась Олеся.

Христина тоже засмеялась.

— Ну, чего пристала — хорош не хорош. Память моя старческая, давно это было. А Тимофея я нынче вечером видела, на это моей памяти хватает.

Они обе уже улыбались, и волнение уже отпустило их.

— Право слово, всполошились мы, как куры, — говорила Христина.

— Правильно ты сказала: свадьба на носу, а она девочка чувствительная, робкая. Выросла среди таких идиотов, попробуй тут не робей. Оробела, вот и все. А мы уже нагородили Бог знает чего.

— Да, пожалуй, — не совсем уверенно согласилась Олеся. — Вялая она, скорей, чем робкая.

— Ну, не мудри, не мудри, — прервала ее Христина. — Оробела, вот и кажется вялой. Вялый — робкий, это всё один черт.

Олеся уже устала отмахиваться от нечистой силы. Да и бесплодный разговор их ее утомил. Но была в тихой Олесе твердая струнка.

— Я пойду, — произнесла она, вставая. — Доброй тебе ночи, сестра.

— И, остановившись у самой двери, зевая, проговорила: — Вялый и робкий это совсем разные вещи. Вялый и равнодушный — это вот

похоже одно на одно.

— Пошла вон! — взъярилась Христя. — Хуже нет людей, чем вы, тихони, упрямые вы, как ослы. Ну зачем уже в дверях такое говорить и лишать человека сна? А ведь набожная женщина, христианка, должна о ближнем думать.

— Прости, сестра, — склонила голову Олесья. — Я, наверно, не подумавши сказала. Спокойной тебе ночи. Прости.

— Бог простит, — проговорила, поворачиваясь к стенке, Христина.

Тут на лестнице раздались неуклюжие тяжелые шаги, дверь распахнулась, на пороге стояла вся взъерошенная, с перьями в волосах, в одной сорочке Домаха.

— Барышня, — едва успела вымолвить она.

— Что с ней? Что?

Христина мигом вскочила с кровати.

— Что? Да говори, мерзавка! Убьешь ты нас.

— Барышня, в саду у дальнего забора.

— Что? Что, негодяйка, скажи хоть — жива?

— Живы.

— С кем она?

— Одни. Лежат на траве и уж очень горько плачут.

— Да как ты из сада услышала-то? Тебя из пушки не пробудить.

— Они меня в комнате пробудили. Вдруг вскрикнули так громко, а потом заплакали тихонько и пошли, а я следом. Уж так они там вскрикивают, уж так плачут. А ночь холодная такая. Как бы не захворали.

Одному Богу известно, как не пробудилось всё шапорцовское племя и не выскочило заодно уж на крыльцо, когда дом заскрипел и заохал от такого множества шагов, открываемых дверей, переговоров. Но Шапорцы так привыкли к тому, что по их скрипучему жилищу вечно кто-то ходит по ночам, с кем-то переругивается, чего-то ищет, что ночное это происшествие прошло почти что незаметно.

И вот уж всё устроилось, как надобно. Пан Павло, отец Марины, спит на лавке на кухне, Домаха там же заваривает липовый чай. Марина греется на родительском ложе под не новым, но роскошным и теплым сиреневым пуховым одеялом.

Мать и тетушка подсовывают ей рюмочки и склянки с разными целебными каплями. А на краю сиреневого одеяла сидит, как будто так и надо, длинноухий песик Черныш и смотрит на Олесью и Христину с гордым видом. Об его изгнании не может быть и речи, ибо, когда несчастная панночка горько плакала, упав на землю, рядом с нею не было ни единой родственной души, кроме Черныша, который

сочувственно и деликатно слизывал с ее щек слезы.

«Выпей, деточка, успокойся, дытына, вот согреешься, уснешь и всё будет хорошо».

И Олесе, и Христине хочется узнать, что случилось, какая беда свалилась на бедное дитя их, но узнать они ничего не могут, ибо, будто кто-то заколдовал их, беспрестанно задают единственный вопрос: «Кто тебя, наша птичка, обидел?», на каковой каждый раз получают правдивый ответ:

«Никто».

Марина не в силах сейчас говорить даже с ними, с самыми близкими и родными, о том великом и горьком, что вдруг подняло ее среди ночи и заставило так страшно, так отчаянно закричать, а потом рыдать, прижимаясь к земле, и знать, что, сколько слез ты не прольешь, всех никогда не выплачешь, так велико это горе.

— А что, нахальную скотину не пора согнать с одеяла? — осведомляется тетя Христина.

— Нет, — решительно отвечает Марина.

— Будь по-твоему, моя ласточка, спи.

8

Обитатели села Высокого и окружающих весей были добрыми христианами и не желали ближним зла, но имели развитый и утонченный вкус к скандалу. Иными словами, если, скажем, муж побил жену или у кого-нибудь украли кобылу, это было слишком обыденно для того, чтобы стать достойной причиной общественного смятения.

Впрочем, на сей раз утонченное чутье селян распознало серьезную поживу и аппетиты любителей пикантных новостей разгулялись, как никогда.

Уже сама по себе приближающаяся необычная свадьба одного из лучших женихов в уезде с прелестной девушкой из странной и чуждой семьи, уже сама по себе одна лишь эта свадьба давала пищу для волнения.

Внезапная болезнь невесты до свадьбы, причем не тот заурядный и обыденный медицинский случай, когда девушка, к примеру, работая на огороде, нечаянно тюкнула себя мотыгой по ноге, а наоборот, случай таинственный, необъяснимый и никем всерьез не объясняемый, то ли простуда — в летнюю жару, то ли какие-то явления нервного свойства, необычная эта болезнь, случившаяся всего за несколько дней до венчания, подлила масла в огонь общественных страстей.

Ходили самые фантастические слухи, что девица встретила чуть ли ни графа... в лесу, у озера, в собственном саду. В этом случае пылким сердцам украинок представлялся немедленный отказ жениху, разрыв

и — наконец-то! — скандал.

Но разрыва не последовало; жених усердно навещал невесту, его мать таскала ей в глечиках и макитрах всякие целебные отвары и вкусную еду, вроде пирожков с маком или вареников с вишней, чего у Шапорцов не готовили никогда, и к вящему разочарованию общества, готового к неожиданным и крутым поворотам событий, дня через два панна Марина одужала, или, выражаясь по-русски, выздоровела, и прогуливалась с женихом по садику, благосклонно выслушивая занятные байки, на которые он был великий мастер, скромно улыбаясь и вообще являя собой образец благопристойности и скромности.

Общественному мнению, казалось бы, самое время было с негодованием плюнуть и отойти в поисках других, более занимательных сюжетов, но сюжетов не было, как на зло, кроме одного — единственного: внезапного исчезновения Якова Мацука и полного нежелания его родителей отвечать, куда он подевался.

А если вспомнить, что еще совсем недавно Яков был главным соперником Тимофея, и прибавить к этому, что всегда непроницаемые физиономии старших Мацуков достигли той степени непроницаемости, при которой их легко можно было принять за небольшие сундучки (по-украински «скрынъки»), не приходилось удивляться, что общественное любопытство было по-прежнему сосредоточено на тихой паре обрученных и с каждым часом приобретало все больший накал.

Впрочем, мы, пожалуй, вправе открыть читателю причину столь быстрого выздоровления Марины.

После того, как ее полураздетую привели из холодного сада, дрожащую, смятенную горем и замкнувшую это смятение в себе, у нее началась нервная горячка. Искали лекаря (правда, пока безуспешно). Марина была очень плоха и почти ничего не ела.

Однако тут внезапно в дом Шапорцов ворвалась одна из самых нетерпеливых сельчанок, жена бондаря — она же бондарчиха, — снедаемая жгучим желанием «проведать хвору», как выразилась она, изъясняясь же на современном языке — «обменяться новостями».

«Обмен» состоялся и был весьма неравноценен. Бондарчиха узнала, что в доме Шапорцов «страшенные» сквозняки, что ни для кого из местных жителей не было секретом, и собственными глазами увидела, как Голованиха кормит будущую невестку коржами с маком, заодно угощая Христину.

Новости, полученные Мариной, оказались более существенного свойства. Пристально вглядываясь девушке в лицо, бондарчиха сообщила, что молодой Мацук отправился с самого утра по каким-то своим делам, куда, зачем и надолго ли — неизвестно, прибавив в скобках, что у старых Мацуков рожи стали «як скрини». У Марины

бешено заколотилось сердце, но болезнь вдруг как рукой сняло, ей даже захотелось есть.

— Вон как! — отозвалась она на сообщение гостьи предельно равнодушным тоном, затем вытащила из миски, где находились коржи с маком, кусочек коржика и принялась его жевать.

— «Вон как!» — негодуя изображала ее подругам бондарчиха. — «Вон как!», ах ты, кукла, крученная, верченная, кусочек коржа не может съесть, не то чтобы спечь. С ней Тимош еще наплачется.

— А граф? — спрашивали бабы.

— Да какой тут у нас граф, тот, что на огороде ворон гоняет? Выйдет она за Тимоша, Ульяна и так с ней, как с дочкой, нянькается, а вот на кого ей совсем начхать, это на Яшку Мацука, тут я головой своей ручуся.

В отличие от бондарчихи, столь мало довольной их встречей, Марина была преисполнена радостных чувств. С трудом сдерживая сияние глаз, улыбку, прорывавшуюся на лицо, она что-то лепетала, отвечая на вопросы, а сама думала о другом, совсем, совсем о другом. «Он меня любит, он от меня не отказался; хотя я оставила ему всего неделю, но он в первый же день, в первое утро бросился, уехал в какую-то даль, что-то делает, чтобы мы были вместе».

«А если он уехал по совсем другому делу?», — мелькнула, как хлыстом хлестнула, мысль. Нет, нет, он же ей сказал, если ты захочешь, мы убежим и в день свадьбы. А какие у него были глаза. А у стариков рожи, как скрыни?

Тут она не выдержала, улыбнулась и попросила зеркальце.

— Ну, дивчина, ты, я вижу, на поправу пошла, — обрадовалась Ульяна. — Сегодня днем, я думаю, встанешь. — Успокоенная веселым видом Марины, Голованиха вскоре попрощалась и ушла.

А Марина тут же выскочила из постели и пронеслась вихрем по дому, потом уселась приводить в порядок запущенные дела, а дело у нее было одно, самое главное: приданое — она развешивала и раскладывала рубашки, рушники, простыни, что-то мурлыча под нос, всем телом чувствуя легкость и тепло.

И вдруг похолодела: в чей дом, какому жениху буду я подавать этот рушник с синими петухами? С кем из них лягу я на эту простыню, чьи руки тронут эту сорочку?

Я дурная, я распущенная, подумала она. Разве можно готовить приданое для двух мужчин и не знать, кто твой суженый, твой желанный?

Она встала на колени перед небольшой медной иконой «Пресвятая Богородица Всех Скорбящих Радость» и стала молиться: вразуми, научи. Что мне делать? С кем-нибудь поговорить из близких? Со

священником? С кем?

Богородица не смотрела на нее с гневом, а лишь как-то отстраненно, но в то же время не отчуждая ее от себя. Марина вглядывалась в таинственный и несуровый лик, и ей показалось, что Богоматерь саму ее не отстраняет, отстраняет лишь ее вопросы — решай сама. И Марина постаралась сделать то, что велела ей дева Мария: она сосредоточила все свои мысли, все чувства. Господи, да что же это? Тимош — радость, тепло, свет, Яков — боль, но такая боль, что дороже всего на свете. И вдруг ей пришло в голову, что всё это приданое она готовила для Тимоша и только для него, ведь приданое готовят в доме уже несколько недель, а Якова она встретила только позавчера. Господи, что же делать? Неужели подойти к Тимошу и сказать: прости меня, я готовила для нас с тобой приданое три недели, не разгибая спины, а сейчас не знаю, для тебя оно или для другого.

Нет, нельзя этого говорить Тимошу, ни за что. А вдруг и в самом деле ничего не изменится, вдруг она действительно просто выдумала себе эту радость? Господи, неужели же она не может походить день—два, порадоваться, не навлекая на себя всех этих сложных и тяжелых разговоров? Ведь если Яков не приедет, не позовет, не увезет ее, она лишится и его, и Тимофея. Милого, любящего, не виноватого ни в чем. Как можно его так оскорбить?

Надо подождать, когда появится наконец Яков, а пока просто жить, как ни в чем не бывало, радуясь своей любви в душе. Так прошел день, другой, но ясную ее радость постоянно туманила мысль: для кого это приданое, для кого оно? Только большая грешница может готовиться к свадьбе, имея на сердце двоих мужчин.

Вечером ей стало так тревожно, что она всерьез задумалась: с кем поговорить. С матерью? Это, казалось бы, естественней всего. Мать ближе всех, мать деликатная, справедливая. Мать никогда не обижала ее, и Марина, конечно, ее не боялась. Не боялась, но стеснялась — вот ведь в чем беда. Как-то странно сообщать такие новости молчаливой сдержанной маме, живущей среди каких-то своих мыслей, больше, чем среди людей.

Как ни удивительно, но тетя Христина, вспыльчивая и частенько вздорная тетя Христина, представлялась ей более подходящей собеседницей. Она хоть и крикунья, но может понять, что у человека на душе. И поймет, и пожалеет. Да к тому же ведь она сама в свое время оказалась в положении Марины, так что, кто, как не она, сумеет признать, что человек может быть девушке мил и приятен, но бывает в ее жизни та, великая любовь.

Как же, именно она и отказалась от хорошего, благоразумного брака из-за мечты, всего только из-за одной мечты.

— Что ты вертишься вокруг меня, будто ты кошка, а я бумажный бантик? — милостиво осведомилась тетка. — Попросить чего-то хочешь? Проси.

— Я хотела попросить... — вдруг смутилась Марина. — Я хотела вас попросить... тетя, поразговаривайте со мной.

— Чудеса! — изумилась Христина. — С утра до вечера только и делаем, что говорим. Случилось что-нибудь?

Марина кивнула.

— Ну рассказывай, что натворила.

Марина не знала, как должен идти разговор, но чувствовала: как-то не так.

— Тетечка, я ничего не натворила.

— Ну!

— Тетечка, я вас очень прошу, это важно для меня, очень важно. Я ведь и заболела из-за этого.

— Да больно быстро выздоровела.

— Нет, тетечка, нет, мне горько, мне так тяжело, мне непременно надо с вами поговорить.

— Так говори же, черт бы тебя драл, что ты всё мяукаешь?

— Тетя, вы не думайте, что я ломаюсь перед вами, мне просто очень трудно это сказать.

— Так не говори. С Тимофеем повздорила что ли?

— Нет, с Тимофеем-то всё хорошо.

— А с кем нехорошо? — быстро спросила тетка, внимательно устремив на нее взгляд выпуклых зеленоватых глаз.

— Я люблю не Тимофея, тетя Христя. Я люблю другого.

Тетка засопела, продолжая пристально на нее глядеть.

— Я, — срывающимся голосом говорила Марина, — сразу не поняла, что с Тимофеем это просто так, нам с ним весело, хорошо, вот и всё.

— А с кем не просто так? — строго спросила Христя.

— С Яковом... с Яковом Мацуком.

— Девка, что ты меня путаешь? Он же не с неба свалился, он всегда тут был.

— Да, но я не сразу поняла.

— Чего?

— Что я люблю его, — Марина жалобно посмотрела на тетку. — И он тоже меня любит.

— И тоже только что понял?

— Нет, — смущенно пролепетала Марина. — Он всегда понимал.

— А ты его отшивала! — торжествующе сказала Христя.

— Ну да.

— Так чего ж ты от меня-то хочешь?

— Поделиться с вами, поговорить. У вас же был такой же в жизни случай.

— Посоветоваться, может, заодно? — угрожающе спросила тетя Христя.

Марина не то кивнула, не то опустила голову.

— Так вот тебе, девица, мой совет, — зычно протрубила тетка. — Выбрось чушь из головы, видно, всё у тебя больно хорошо, что захотелось чувствительных сюжетов. Яшку ты знаешь столько же времени, сколько своего жениха. И все мы видели, что он весьма тебя домогался. Ты его отвергла и правильно поступила. Ты выбрала лучшего, несравненно лучшего из двоих. Ну, чего ты плачешь, дурочка? Неужели тебя богатство его прельщает?

Марина отчаянно затрясла головой.

— Так на кой дьявол он тебе сдался? Тимош красивей его в сто раз. Он парубок и добрый и разумный. А Яшка, ох, до чего же не прост. Там чего только не намешано. Он, когда мальчишкой еще был, сунул мне однажды вечером в окно свою физиономию и такую сотворил гнусную рожу, как у самого паршивого чертенка.

— Тетя, ну причем здесь это? Тимофей тоже в детстве озорничал.

— Ишь, разговорилась, больно умна. А скажи мне, умница, старые Мацуки так же охотно тебя в семью свою примут, как Тимофеевы родители?

— Нет, конечно, — грустно сказала Марина. И вдруг быстро, звонко произнесла: — И все-таки, тетечка, я от вас таких речей не ожидала. Вы сами предпочли благоразумию высокие чувства. Даже не чувства, а просто надежду. Вы остались одинокой на всю жизнь. А меня вы учите во всем быть разумной.

— Да, разумной, а не вздорной дурой. У тебя жених прекрасный, у тебя любовь. У тебя, у дурочки, впереди жизнь, полная счастья. А ты из пустой прихоти хочешь всё погубить.

— Ну почему вы так говорите? Разве Яков не достоин любви? Неужели вы не видите, какой он?

— Парубок как парубок. Своей какой-то любви и он достоин. Но не приставай ты ко мне с ним, какое мне до него дело? С Тимофеем его сравнить нельзя и весь разговор. Выброси его из головы и отправляйся спать, голубка. Авось утром пояснее станет в голове.

Марина вышла, опустив голову, тихо буркнув «Спокойной ночи, тетя», расстроенная, обиженная, не убежденная ни в чем, но ощущая, что страшная путаница в голове стала невыносимой.

Самое главное, она не дождалась того, чего ждала от тети Христи. А ждала она надежды, ей казалось, тетя все поймет, одобрит ее выбор, утешит, и надежда снова пробудится в ней. Вот уже четвертый день

нет весточки от Якова, и надежды с каждым днем всё меньше, и сердце так скверно, так глухо болит.

Спала она плохо. Что делать, что же мне нужно сделать, думала она даже во сне.

9

Слава Богу, утром оказалось, что не надо сидеть дома. Не хватало маленьких крючочков и еще кое-каких вещиц, и Марина отправилась в лавку к Фросе. Собственно лавка, настоящая лавка, в Высоком была и торговали там всем, чем положено торговать в деревенской лавке. От хомутов и дегтя до тех же крючочков.

Но крючочков, кружев и тесьмы в той лавке почти никогда никто не покупал, ибо за галантерейным товаром все ходили к Фросе, молодой, обходительной вдовушке.

Торговала Фрося в длинной и узкой передней горнице, почти во всю длину которой протянулся темный под орех отполированный стол. Когда заходили покупатели — обычно покупательницы — Фрося раскладывала на столе свой товар, а после совершения покупки порой стелила на краю стола скатерку и ставила угощение.

Фрося была личностью в деревне популярной, к ней охотно забегали не только за товаром, но и о новостях потолковать, в ее доме, а летом на заднем крыльце возле дома собирались «вечерницы». Марина там бывала этим летом и никак не могла взять в толк, почему некоторые ее подружки боятся Фросю и ее бедового язычка, а главное — недоброго глаза и даже намекают на ее связь с нечистой силой.

— Нет у нас в Высоком настоящей ведьмы, вот ведь в чем беда, — охотно объяснял Марине Тимофей со столь серьезным и доверчивым «щирым» взором, что никак нельзя было понять, что в словах его правда, а что — вымысел, и не из одного ли вымысла состоит его речь. — Обидно нашим бабам, серденько, что настоящей ведьмы нет, вот они и ищут повсюду, вместо того, чтобы просто в зеркало посмотреть. Что ни день новую ведьму себе придумывают. То им Матрена Сивокобыленко ведьма, то — Килина.

— А Килина за что? — оживилась Марина. Старуха Матрена Сивокобыленко, живущая на окраине села, нелюдима, чудаковатая, вечно бормочущая себе что-то под нос, разумеется, могла сойти за ведьму.

— За что Килина? — переспросил Тимофей и немного смутился. — Да, почитай, что ни за что. Красивая она и злая — вот нашим бабам и хватает — нет же настоящей ведьмы на селе.

Марина поняла: неловко Тимофею хаять покинутую им Килину, и тоже смутилась.

— Ну, а Фрося — настоящая ведьма? — быстро спросила она.

— Фрося, серденько, совсем не ведьма, — предупредительно отвечал Тимофей, — но там хоть есть за что зацепиться. На помеле она, конечно, не летает, но кое-какие мелочи за ней водятся. Рассердилась как-то на Иващенкова Стецька, поругалась с ним за что-то, он отошел от нее несколько шагов, вдруг ни с того, ни с сего споткнулся на ровном месте, да как хлопнется на землю и даже гулю здоровенную на голове набил.

Марина слушала, затаив дыхание, черные глаза ее сияли детским любопытством.

— А в другой раз, — продолжал Тимофей, — прицепились к ней чего-то наши бабы, бондарчиха и ее подружки — сами истинные ведьмы, к слову сказать — и наговорили всяких гадостей. Я при этом не был, но люди точно говорят, Фроська лаяться с ними не стала, только гневно так сверкнула на них очами, и вдруг среди безоблачного синего неба грянул такой оглушительный гром, что даже окна в хатах зазвенели.

Марина вскинула на жениха испуганные очи.

— Она не ведьма, Фроська, конечно, нет, но мелочи кое-какие по наследству получила, — ослепительно усмехнулся Тимофей. — У них ведь, пташенька моя, была—таки в семье ведьма, то ли тетка, то ли бабка Фросина. Не помню точно — кто, но люди говорят, та старуха зналась с нечистою силою.

Вот к этой самой Фросе, о которой столько занятого рассказывал деревенский люд, и к которой, невзирая на рассказы, она испытывала безотчетную приязнь, и отправилась в это утро Марина.

Фрося сидела у прилавка, вернее, у стола, высокая, худощавая, совсем еще не старая вдовушка, с веселыми круглыми карими глазами.

В дальнем конце комнаты толпилась стайка девушек. Когда вошла Марина, они весело и громко смеялись и сразу смолкли, увидев ее.

Марина поздоровалась. Ей ответила хозяйка. Ответили и девушки, но как-то странно глядя на нее. Марина разглядела среди них Килину и Марфушу Лебединец. Килина с ней не поздоровалась.

— Чем могу служить панночке? — спросила Фрося.

Девушки снова почему-то захихикали.

Стараясь не оглядываться на них, Марина негромко попросила Фросю показать ей нужную галантерею. Склонив голову, она отбирала товар, и сердце билось у нее где-то в горле. Она чувствовала: случилось что-то плохое и плохое именно для нее. Что-то быстро проговорила Килина, и вновь взрыв хохота. Сделав над собой невероятное усилие, Марина подняла голову и посмотрела на дивчат. Все глядели на нее веселыми глазами, полными ожидания и любопытства.

Марина снова стала отбирать крючочки. В девичьей стайке не умолкало веселье.

Фрося встала и быстрым шагом прошла к середине прилавка.

— Это что ж такое? — возмущенно крикнула она. — Стойте, панночка, там, где стояли, — повернула она голову к Марине. — Вас не касаются эти дела.

— А нас касаются? — запальчиво спросила Настя, высокая с темной косой и красивыми, бархатными бровями. — Что случилось? У тебя что-то пропало?

— Прибавилось, — сладким голосом язвительно ответила Фрося. Потом улыбочка сбежала с ее лица, она нахмурилась и властно сказала: — Подойдите все сюда.

Девушки неохотно двинулись к ней, одна Килина осталась на месте и дрожащим от обиды голосом крикнула:

— Я воровкой сроду не была и подходить по твоим указкам не собираюсь.

Фрося в нее сторону и бровью не повела. Она пристально и гневно всматривалась в лица остальных.

— Вот, — сказала она, с отвращением и гневом указывая на прилавок. — Как она здесь оказалась? Кто ее сюда привел?

На темно-коричневом, пустом в этой части прилавке, блестела крупная и тонкая игла.

— С кем она сюда пришла? С кем там в углу стояла? Чья подружка? — спрашивала Фрося.

Игла вдруг поползла. Девушки вскрикнули и попятились. Даже Килина вышла из своего уголка и стояла теперь рядом с толстенькой веселой Одаркой, с таким же ужасом, как остальные, глядя на ведьму, обернувшуюся иголкой. На Украине иногда случаются такие вещи. Случаются они и в наши времена.

Иголка медленно ползла к краю прилавка, потом резко повернулась и быстро ушла назад. Замерла на мгновение и вдруг завертелась волчком, так что только искры мелькали. В лавке затихли все, и Фрося, и дивчата, и Марина в стороне от других, с печальной мыслью, не сулит ли ей каких либо бед эта загадочная металлическая затейница. Иголка снова принялась снова по прилавку, совершая неожиданные повороты.

И внезапно, словно ей наскучило развлекать этих девчонок, она плавно подобралась к тому краю прилавка, что был поближе к ним, и стала двигаться неторопливо, приостанавливаясь иногда, и отправляясь дальше. Так она прошла мимо всего строя девчат, повернулась и поползла обратно.

— Ой, — прошептала вдруг высокая, всегда смелая Настя тихо,

словно испуганная девочка, — ой, — прошептала она и откачнулась влево от своей соседки.

— Ой, мамочки! — громко выкрикнула менее сдержанная Одарка и прямо-таки шарахнулась вправо.

Все взгляды устремились в одну сторону. Марфуша Лебединец стояла перед прилавком и тряслась мелкой странной дрожью, не спуская взгляда с иглы. Безумный ужас был в ее глазах. Она не шарахалась ни влево, ни вправо, она стояла на прежнем месте, но была сейчас одна, а не в толпе, потому что все отодвинулись от нее насколько можно. Иголка же вертелась перед ней, казалось, она лениво покачивала хвостом, если бы у иголок были хвосты, приподнимала острие, словно хотела взлететь и клюнуть Марфушу в нос, потом медленно уползла по прилавку к Фросе и лежала теперь так же неподвижно и тихо, как лежат все обычные предназначенные для шитья иголки.

— Какая гадость, — тихо проговорила Фрося, перекрестилась, белой тряпочкой взяла иголку и унесла из комнаты, как видно, на помойку, которую украинцы именуют «смитник».

Девушки уставились в окно. Вот в бурьяне промелькнула серая кошка. Дивчата с визгом бросились из лавки.

Одна Марина осталась на месте — она была единственная покупательница.

Вернулась Фрося.

— Разбежались мои гости, словно веником повымело, — произнесла она с усмешкой и упругим быстрым шагом прошла взад-вперед по лавке.

— Терпеть я этого не могу, — вдруг сказала она громко и сердито.

— Чего?

— А таких вот женских штучек. Все на одну и каждый раз на ту, которой сейчас плохо. Дивчата как дивчата, совсем не злые, то есть, разные, конечно, есть, но по большей части обыкновенные люди. И вдруг как будто пронесется что-то и все разом кинутся на одну. Как стая на больного волка. Когда-то на меня вот так бросались, что ни скажешь, что ни сделаешь — всё не так. Они все вместе, я — одна, и им приятно. Правда что, как волчья стая.

— Это, наверное, из-за твоей семьи? — нерешительно произнесла Марина.

— А что семья? — вскинулась Фрося. — Семья как семья. Только бабка, отцова мать, была ведьма. А мы все крещеные, жили, как все люди. — Она подошла к Марине и неожиданно погладила ее по голове. — Правильно, панночка, не любят люди непохожих. Семья не такая, краса не такая. У вас тоже семейка не приведи Бог.

— У нас в семье все очень разные, — сказала Марина.

— Конечно, разные, мне можешь этого не объяснять. Друг для друга вы очень разные, а для села вы — Шапорцы.

— Козина головка, — усмехнулась Марина.

— Вот-вот. И подумать только, вдруг такая козина головка увела у всех этих красоток двух лучших женихов. Мало того, накануне самой свадьбы, когда одному из двух давно поры бы отступиться, он вдруг куда—то исчезает, и вся деревня слухами гудит. Уж квохтали тут, квохтали: «Ах, Яков... вот Яков... слышали, что Яков...» и тут вдруг ваша милость пожаловала за крючками.

— А что Яков? — со страхом спросила Марина. — Где он? Я же ничего не знаю.

— Слушайте, панночка, вы что, спите целый день и никогда не просыпаетесь? Разве только изредка, дойти до лавки и купить крючки?

— Фрося, не мучь меня, скажи, что случилось.

— Что случилось, что случилось. Хотела бы я знать, что у вас перед самой свадьбой случилось. Он тут был сегодня утром. Сказал родителям, что нанялся не то в управляющие, не то чуть не в приказчики, аж в М-ской уезд. Собрал вещи и уехал.

— Как уехал! — вскрикнула Марина. — Не повидал меня, ни слова не сказал?

Фрося смотрела на нее круглыми жалостливыми глазами.

— Фросечка, что же это? Он же сказал, что увезет меня хоть в день свадьбы. И вдруг поступает на какую-то службу, неужели ему эта служба важнее меня.

— Ой-ой-ой! Такого наговорила. Хозяйский сын, да с такого хозяйства пошел куда-то в наймы служить. Из-за вас он всё это и затеял, неужели не ясно? В день свадьбы, сказал, увезет? И давно вы с ним бежать уговорились?

— В тот четверг, — Марина виновато улыбнулась. — Встретила его нечаянно и, как тебе сказать, вдруг сама себя поняла. Сердце проснулось. Поздно, конечно.

— Поздновато. Я же говорю, вы всё на свете проспять можете. Ничего, зато он успел. Нашел за три—четыре дня работу и свой уголок. Молодец парень, быстрый, как молния. Видно, любит.

— Любит, — кивнула Марина, и впервые за эти дни у нее потеплело на сердце, и закапали быстрые, горячие слезы. Господи, как же ей всё время хотелось услышать утешительное слово.

— Интересная история, — проговорила Фрося. — Приехал, вроде бы, вас забрать и умчался через час, с вами не повидавшись. И девчонки эти злорадствуют. Как понять такое? Видно, он за что-то на вас рассердился. Вы кому—нибудь рассказывали про ваши дела?

— Только тете Христе, но она и слушать не хочет. Ей больше нравится Тимош.

— Так пусть выходит за него замуж. Она же у вас девица. Нашла с кем секретами делиться. И родители твои не знают, и жених?

— Ни одна душа.

— Ни одна душа не знает, и свадьба через три дня, и ты бегаешь ко мне за крючочками, а по вечерам гуляешь с женихом. Знаешь, дивчина, я бы на его месте уехала тоже.

— А что я могла сделать?

— Многое могла. Хотя бы свадьбу отложить. А тебе это в и в голову не приходило.

— Приходило, — вздохнула Марина. — Только не решалась я. Ждала от Якова вестей.

— Он привез тебе сегодня утром весть. И узнал, что пока он там носился, как скаженный, у тебя здесь никаких... ну, самых малых перемен.

— И тогда он осерчал и скрылся, не удостоив меня объяснения?

Глаза Марины высохли. В них была и обида и боль. В них была и задетая гордость.

— Не приставайте ко мне, панночка, сама вижу, что-то тут не так. Вы ведь сказали ему, что его любите и хотите с ним бежать. А повадку вашу нерешительную он хорошо знает. У него решимости на двоих. Он же приехал забрать вас, увезти, а уехал, даже не поговоривши. Что-то случилось сегодня утром. Чувствую я, была какая-то причина, она всё решила.

Тут разволновавшаяся Фрося рывком открыла шкатулочку и стала нервно вертеть в руках иголку—оборотня, неизвестно как туда попавшую.

— Зачем ты эту... эту самую у себя держишь? — изумилась и, по чести говоря, порядком напугалась Марина. — Ты ж ее выбросить хотела.

— Еще чего! Стану я выбрасывать хорошую вещь. Такие фокусы показывать умеет.

— А что это?

— Игрушечка моя. Вам или другим дивчатам ни за что даже на волосок не сдвинуть ее с места. Но я все—таки умею кое-что. Хоть и не ведьма, а ведьмина внучка. Пригодилась мне сегодня моя шустрая иголочка. Может быть, поможет еще не раз. — И она торжествующе приподняла иголку, чуть не сунув ее Марине под нос. Марина отшатнулась.

— Ты будешь колдовать? — спросила она с ужасом и отвращением.

— Еще чего не хватало. Я не ведьма. Не шарахайтесь, говорю

вам, это хорошая иголка. Не оборотень, не ведьма, просто игрушечка моя. Я ведь затеяла эту игру сегодня, чтобы девчонок попугать. Не понравилось мне их злорадство, вот я и решила их пугнуть. Но Марфушка, как ее скрутило! Чем-то навредила она вам, очень сильно навредила, вот ее совесть и мучит. Она вас не любит?

— Да. Мы дружили одно время, потом перестали. Я не знаю, за что она меня не любит.

— Подумай. Может, догадаешься. Тогда мне расскажешь. Ну, что берешь крючочки?

Меньше всего Марине хотелось покупать эти злосчастные металлические штучки, но неудобно было перед хозяйкой. Она положила на прилавок монетку, Фрося завернула ей покупку и, отдавая, сказала:

— Весь твой характер тут.

— Спасибо, — сказала Марина. — Спасибо за всё.

Она еле шевелилась.

— Не за что меня благодарить. Мало радостного я тебе сказала. Думай дивчина, думай. Думай, чего ты для себя хочешь.

У порога сидела серая кошка, так напугавшая девушек.

— Это твоя? — спросила Марина.

— Моя. Кто же меня без кошки будет считать колдуньей. А притом еще ловит мышей. Прощай, дивчина. Пусть тебе Бог поможет. Я крещеная. Мое слово тебе не повредит.

10

Ульяна поставила на стол кружку молока и блюдо с нарезанной паляницей.

— Разве ж то обед? — сказала она. — Может, хоть яичницу зажарить.

— Не надо, мама, я не хочу есть.

Эта крупная женщина с мягкими и легкими движениями, казалось, делала все медленно, но это лишь казалось. И Тимош знал это и любил смотреть, как небрежно передвигается по хате мать, делая, как бы ненароком, множество дел.

Он и сейчас, не поворачивая головы, замечал, как мать прошла в один, в другой угол, вышла из хаты, вернулась и, подойдя к столу, что-то поставила возле него, но чуть в сторонке. Это была мисочка с гречишным медом. Тимош поднял глаза и во взгляде матери прочел робкую боязнь его задеть. «Ему еда не идет в горло, а я тут сладкое, словно маленькому, подсовываю».

— Спасибо, мама. Очень вкусный этот мед.

Она вздохнула с облегчением и тут же закружилась, завертелась, зазвенела посудой, легкая, большая, мягкая. «Господи, за что? Такой

красивый, самый красивый на селе, одни очи чего стоят, и жалеет всех и понимает всё. Господи, за что это ему досталось? Такая мука. Да еще перед самой свадьбой, так вдруг».

Вошел Федор, такой же, как все они, светловолосый и кареглазый, маленький рядом с высокой женой. Глянул на пустой стол перед сыном, промолчал.

— Всё готово, — сказала Ульяна. — Я тебе сейчас подам.

Он кивнул, перекрестился, сел к столу, где, вроде бы, сами собой появились глечики и миски, начал есть серьезно, истово и молча, как ест порядком проголодавшийся после работы человек.

Когда Тимош встал, отец поднял голову и сказал:

— Вечером поговорить бы надо, обсудить тут разное. Или ты весь вечер просидишь у невесты?

— Нет, — сказал Тимош. — Я зайду, но не надолго. Вечером поговорим.

Интересно, что в этой семье, где разговорчивы были мать с сыном, а отец — молчун, именно он решил, что пришла пора поговорить.

Федор вдруг усмехнулся, махнул рукой и потряс головой:

— Бабы крик подняли на деревне, чистый курятник. Тоже разговор ведут.

Тимош резко повернулся к отцу.

— Что за разговор? О чем?

Федор махнул рукой.

— Да свои там какие-то бабьи дела. Фроська Клименко с Марфушкой Лебединец поругалась прямо у себя в лавке. И связалась же, как говорится, с младенцем. Фроське тридцать стукнуло давно.

Тревога, загоровшаяся в карих глазах Тимоша, сделавшая напряженным его лицо, растаяла, погасла. Марфушка, смешная девчонка, вечно попадающаяся ему на пути с перепуганным чего-то ожидающим взглядом, что ей вздумалось вдруг с Ефросиньей ругаться.

— Так я не поздно сегодня вернусь, — сказал он.

11

Есть украинская сказка про бездомную собачку. Мне рассказывала ее бабушка, Мария Тимофеевна, Марине — отец, и все мои дядюшки, тетушки, все двоюродные дедушки и бабушки, и моя мать, и мой сын, ее, конечно, слышали.

У собачки не было дома и зимой она страдала от жестоких морозов. Сжавшись в комочек, дрожала на студенном ветру и давала себе клятвенные обещания, что, как только придет лето, она построит себе домик. «Да и домик этот строить совсем не долго, я ведь такая маленькая, и домик мне нужен маленький», размышляла собачка. Она

и в самом деле от холода сжималась в совсем крошечный комочек.

Приходило лето, было тепло, красиво и собачка, развалившись на мягкой траве, начинала сомневаться, так ли уж ей нужен домик. «Жарко, душно, как трудно сейчас работать. Да и зачем мне домик? Мне и без домика тепло. А домище ведь придется строить огромный — вон я какая большая». И в самом деле, в теплую летнюю погоду собачка, лежа на траве, вытягивалась во весь рост и становилась довольно крупной собакой.

Но вот опять наступала зима, и маленькая, свернувшаяся комочком собачка упрекала себя: «Как же это я лето пропустила? Сейчас домик не построишь — вся земля проморозилась, а летом надо будет непременно его выстроить, чтобы не мучиться от этих жутких холодов. Тем более, я такая маленькая, мне и домик-то нужен совсем малюсенький».

Но приходило теплое лето...

* * *

Фрося была совершенно права, когда сказала: «Друг для друга вы разные, а для села — Шапорцы».

Шапорцы, — растерянные, раздерганные, бестолковые, делать ничего не умеющие, были в глазах сельчан, как некое племя в глазах путешественников — чуждые и все на одно лицо.

И в то же время это большое, обитающее в тесном домике племя состояло из самых различных, часто очень непохожих друг на друга людей. Замкнутый, застенчивый трудяга Серафим и бойкий на язык лихой бездельник Данила. Спокойно и весело злобная Химка и Христина, в своей деятельной бескорыстной любви так часто действовавшая по пословице: «Люблю, как душу, тряску, как грушу».

Дед, благодушный, беззаботный, в отрочестве отчаянный озорник и, спустя почти столетие, сохранивший способность к теперь уж редким шальным выходкам.

Хитроумный Никифор, весьма изобретательный в аферах, но почему-то проваливающий их все до единой.

В этой семье были очень разные люди, в ней была даже супружеская пара аристократов, жестоко сложенная судьбой.

Павло, отец Марины, был единственным из братьев, кого природа наделила любовью и способностью к наукам. Он учился у дядьки так хорошо, что его заметил и священник; вдумчиво, придирчиво и строго побеседовал с мальцом, вслед за чем имел также беседу с директором гимназии и попечителем учебного округа. Перепуганный, стеснявшийся своей нищей одежи и нестриженных длинных волос, Павло поступил в гимназию, не чая кончить даже приготовительный класс, но прошел,

однако, вполне успешно не только весь гимназический курс, но и университетский, в матери городов Киеве.

К родным пенатам возвращался он лишь на летние вакации, и отчий дом представлялся ему благодатным уголком, изобиловавшим плодами огородов и садов, своих и чужих, а собственное семейство — сборищем милейших и забавных чудаков.

Когда пришла пора получать назначение в должность, на одну чашу весов легли отличные способности и хорошие знания, а также репутация честнейшего, доброго, отзывчивого малого; обнаружившееся на второй чаше прискорбное отсутствие связей поколебало весы, но перевесила первая. Ректор вспомнил, что его свояк, черниговский вице-губернатор, отдававший немало времени, в том числе служебного, и весь пыл своей души краеведению и этнографии, по-дружески просил прислать ему толкового выпускника не столько для презренной канцелярской службы, сколь для служения науке.

Николай Афанасьевич И. был человеком для провинции замечательным. Широко и фундаментально образованный, он пользовался уважением, и даже несомненные странности его способствовали этому, не говоря уже о том, что этому способствовал и высокий пост, и связи. Правда, драгоценных своих связей Николай Афанасьевич почти не поддерживал, весь с головой уйдя в столь любезное ему краеведение. С местными чиновниками встречался редко, ибо рано овдовел, а дочь его, Александра, обучалась в одном из московских пансионов.

Годы учения шли, как и положено, невероятно медленно и в то же время каким-то чудом вдруг пролетели все, ученье окончилось и взрослая барышня вернулась в тот же самый уютный каменный дом со львами, откуда ее увезли когда-то крошкой.

В черниговском высшем свете с немалой тревогой ожидали появления столичной гостьи. Молодые дамы и девицы заранее завидовали ей и ревновали своих кавалеров. Как видно, не без оснований, ибо и кавалеры были весьма оживлены.

Первое появление Александры Николаевны вызвало успокоение одних и некоторое разочарование других.

«Какая-то серая птичка», — сказала жена прокурора, одна из признанных местных львиц.

Серый цвет действительно преобладал во внешности Александры Николаевны. Серые глаза и пепельные волосы, негромкий голос и бледный цвет лица — все это делало ее, казалось, незаметной среди ярких чернооких красавиц, да и туалеты ее выглядели излишне строгими для молодой особы.

Прошло несколько недель, и губернский свет убедился в

опрометчивости своих суждений.

Тонкая красота и грация Александрин, хоть и не бросалась в первый же миг в глаза, с каждым днем влекла к себе все сильнее. Серые глазки, не показавшиеся сперва красивыми и большими, обладали магнетической способностью привлекать к себе изменчивостью взгляда, огнем, насмешкой, тайной.

Дело в том, что обучавшаяся в столицах и не любившая ярких нарядов дочь ученого вице-губернатора была искуснейшей кокеткой. В уме ны вскружить голову, очаровать, заставить терзаться страшными муками и дарить одним взглядом великое счастье она была профессором ничуть не меньшим, чем ее папенька в сфере краеведческих наук. И все терзания соперниц и все страдания вздыхателей были ясны ей, как отцу — простейшие из его таблиц. Мало того, и на ее долю выпадали страдания, быстротечные, но мучительные порой, и она выносила их стоически, ибо твердо знала, что они необходимы в той увлекательной игре, которую она подняла до уровня науки.

Годы, обладавшие, как мы уже говорили, противоречивой способностью неимоверно медленно ползти и в то же время незаметно пролетать, помчались галопом, и увлеченная интересной игрой очаровательница в один прекрасный миг с досадой заметила, что игра теряет интерес, а поклонники интереса не вызывают, если смотреть на них, как на живых людей, а не как на объект игры.

Разговаривать, пожалуй, было интересно только с папенькой и некоторыми из его друзей. Юная кокетка не то чтобы удалилась от света — лишить себя такого удовольствия она не могла, но несколько от него отстранилась, уделив часть времени разговорам с пожилыми умными мужчинами, приятелями отца.

А годы шли, и Александра Николаевна, по-прежнему самая обворожительная в городе, была уже отнюдь не самой молодой. Да и сердце, так долго занятое легкими играми, попросило серьезной игры.

Павла Шапорца она знала давно и виделась с ним, пожалуй, чаще, нежели с другими. Конечно, она знала все эти годы, что он безнадежно в нее влюблен.

Сердце, пожелавшее серьезной игры, что-то стронуло в ней, что-то толкнуло. «Да ведь он же здесь единственный!» — подумала она. «Как же я не замечала: во всем нашем губернском свете нет никого, с кем можно было бы хоть слово сказать».

В это мгновение она искренне забыла, что не раз обменивалась и словами и даже рассуждениями со многими молодыми людьми, и это было ей совсем не противно.

Что до Павла, он и впрямь был на редкость хорош — и умен, и красив, и сердце золотое, но влюбилась-то она в него только сейчас и

потому только сейчас решила отмахнуться от таких досадных мелочей, как отсутствие у жениха связей и денег.

Николай Афанасьевич был доволен: «Слава Богу, выбрала умного человека, а не шаркуна безмозглого с надеждой на наследство». Надежд на наследство и тетушек и впрямь не было никаких. Но молодые искренне любили друг друга. Казалось, как в английском романе, то ли бой свадебных колоколов, то ли первый крик младенца — а младенец не замедлил вовремя появиться — возвестил их твердые права на земное блаженство до гроба.

Блаженство длилось немного более года. Затем Николай Афанасьевич скоропостижно скончался от разрыва сердца. Молодые горько оплакивали его, не подозревая, что это лишь первый из ударов, которые заготовила им судьба.

При жизни Николая Афанасьевича они не знали, что наделены убийственной чертой — им завидовали, причем многие и сильно. Они были слишком на виду. И безродный женишок, который внезапно увел лучшую в городе невесту. И своенравная красавица, за годы своей светской славы столь часто задевавшая гордость кавалеров и дам.

Кроткий и миролюбивый характер Павла, быть может, и продлил его пребывание на службе на несколько недель, но не более. Он попробовал поискать другое место, попытки были неудачны, и Александрин уже говорила: «Брось эту гадость, не служи, будем просто жить для себя». Но тут выяснилось, что жить просто для себя они никак не могут, ибо покойный Николай Афанасьевич не оставил им никаких средств. Жили они на жалованье, жили широко и приданое давно уж прокутили. Где-то в Пензенской губернии у Николая Афанасьевича было имение, в которое он никогда не заглядывал. Никаких прибытков, кроме ежегодных писем старосты, сообщавшего о различных стихийных бедствиях, из этого имения они не получали.

Кто-то из приятелей нашел Павлу переписку, но почерк у него был не так уж хорош, и заказы давали ему неохотно. Он занялся репетиторством, но сумел обрести лишь одного какого-то сироту, опекун которого оказался прижимист.

Пришел декабрь, и в доме становилось холодно, дров было недели на две, а впереди грозно маячили рождественские и крещенские морозы.

Денег вдруг стало так мало, что не хватало на еду, и изобретательная Александра Николаевна красотой сервисов отвлекала внимание от скудости яств. Мальчик начал кашлять. Павел метался по городу, разыскивая мелкие заказы, и, придя однажды так сильно озябший, что, казалось, весь гудел, как замороженная насквозь деревяшка, в свой голодный, не топлённый дом, вдруг заявил

решительно: «Баста! Едем к нашим в Высокое, не то мы тут и до весны не дотянем. И Николушка в первый черед».

«К антикам?», — удивилась Александрин. — «Что ж, знаешь, это неплохая мысль».

Когда карета с молодым семейством подъезжала к дому Шапорцов, последние, согласно семейному обычаю, скопом вылетели на крыльцо, и молодые заметили, что из дверей валит пар и подумали, что там, наверное, тепло.

Антики, хоть и не сразу их пустили — как известно, сразу они не впускали никого, а карета к их дому вообще не подъезжала уже много лет, — но, впустивши, оказались родственны и милы. Стали поить Николушку каким-то декоктом, в комнату к молодым супругам отнесли лучшую в доме перину и велели Горпине натопить им пожарче печь.

Первые дни эта раскаленная печь была любимым развлечением молодых супругов. Так хорошо было прижимать к ней и тут же убирать ладони, приближать щеку к огнедышащим светло-зеленым изразцам.

Хозяйство в доме было не то что поставлено плохо, скорее — не поставлено никак. Случались обеды без жаркого или без супа, случались дни без обедов вообще. Но в доме всегда можно было поесть. А после черниговской голодовки наши супруги всему были рады — сухомятка, так сухомятка, спитой чай — так спитой, нет молока, так есть простокваша.

Молодые прислонялись к жаркой печке, кушали простоквашу, радовались, что дитя не кашляет, придумывали смешные клички для гостеприимно приютившей их семьи — антики, кунсткамера, — от души благодарные этой кунсткамере и уже начиная антиков любить.

Но прошла неделя, пошла другая и веселое восхищение милыми чудачками все сильнее вытеснял испуг. «Это ведь форменный дом умалишенных», — оставшись tet-a-tet, шептала Павлу жена, по привычке кокетливо щуя прелестные свои серые глаза. — «А мы тут вместе с ними не сойдем с ума?»

Павел озабоченно качал головой.

Чем ближе к весне, тем становилось очевидней, что из кунсткамеры надо бежать.

Это было некое призрачное существование людей, занятых видимостью деятельности, но не делающих ничего. Все шло шалей-валяй в этом дивном семействе, и каменный дом со львами, доставшийся Александрин от покойного отца, был продан за бесценок деловитым Никифором, к которому обратились сдуру, не разобравшись сперва, что деловитость его такого же свойства, как все свойства членов этой семьи.

И Николушка не радовал, он хоть и перестал кашлять, но выглядел

нехорошо, о таких детях говорят: болезненный младенец.

«Ты понимаешь», — объяснял вечерами супруге Павел, — «Тут не то скверно, что они не умеют и не любят работать. Это и среди крестьян и среди мещан бывает — заведется вдруг такая вот семья бездельников. Но те живут спокойно и тунеядствуют спокойно. А взгляни на наших — они ведь, как в чаду. Постоянно возбуждены, нервы натянуты до предела, какая-то злая сила их гнетет. Ты понимаешь ли, мой друг, отчего это происходит?»

Супруга выжидательно смотрела на него, и Павел разъяснял с пылом ученого:

— Они помещики. Это помещичий дом. Отец что-то помнит, остальные знают по преданию, что когда-то в этом доме жили совсем не так, а богато, осмысленно, красиво, что они были уважаемы соседями, которые презирают их сейчас. Были достойными, почтенными людьми, а стали париями. Они чувствуют, что в отличие от лодырей-мужиков им не полагается так жить, что у них есть обязательства, и, хотя они не могут выразить свои чувства словами, это постоянно терзает их, и отсюда их мнительность и лихорадочная нервозность. Ты понимаешь ли меня, любимая моя?

— Надо бежать, — отвечала любимая. — Раздобыть в Борзне место, снять маленькую квартирку, а всё хозяйство буду вести я.

В апреле умер Николушка. Тихо истаял. Его похоронили на зеленом сельском кладбище, деревенские бабы громко плакали, провожая в последний путь «такэ малэ». А через неделю родители переехали в Борзну.

Уездный город, достаточно близкий и к деревне, и к Чернигову, уже знал, что к ним переселяются неудачники из известной своей скандальной странностью семьи, не сумевшие устроиться ни в губернском городе, ни в деревне.

Уездный город встретил их сурово. Супруги не жалели сил, преодолевая жизненные неудачи. Павел работал по целым дням, не поднимая головы, Александрин ходила на базар, и стряпала, и убирала, из прислуги у них была только старушка-нянька.

Надо сказать, кое-чего они добились. Мало-помалу их стали уважать, появились даже какие-то приятели, вполне милые люди. В доме всегда было тепло и сытно. Маленькая Марина, родившаяся в Борзне, была крепеньким веселым ребенком, и уездные барыни признавали, что она очаровательное дитя.

Они протянули так года три, даже чуть больше. А затем настало время, когда они уже не смогли жить той жизнью, для которой не были предназначены природой. Аскетичной и суровой, с утра до вечера заполненной безрадостным трудом, с редкими скудными передышками

в виде посещения гостей, мало что дающими для души.

Они были созданы для совсем иной жизни, и когда судьба их вытолкнула в другое сословие, они отдали все свои силы, чтобы в нем существовать. Но силы кончились, и они сломались.

Без иллюзий вернулись они к Шапорцам и снова были приняты, безоговорочно и сердечно. Это безропотное гостеприимство было одним из тех старинных дворянских достоинств, которые, сама о том не ведая, хранила семья. Я уверена, что оно не было единственным.

Но безумие, царившее в доме, творило свое дело. Перемены наплывали незаметно и неотвратно, год за годом, неделя за неделей.

Трудно сказать, на ком более жестоко сказалась жизнь в кунсткамере. Загадочные очи Олеси превратились в прищуренные серые глазки. И пепельные кудри ее сменились сильно тронутыми сединой серыми прядками. Вслед за мужем она начала носить крестьянскую одежду и давно уже не надевала платьев, в отличие от жен остальных трех братьев и золовки своей Христины, которые по временам любили щегольнуть дворянским одеянием. Разговаривала она мало и пристрастилась к рукоделию, а точнее, к штопке и починке, которые не мешали ей думать о чем-то своем.

Дочерью почти не занималась, материнские обязанности передав отцу, но, когда Марина подросла, исподволь наблюдала за ней глазами той черниговской Александрин и была своим произведением весьма довольна.

Павел, давно уже для всех и даже для жены Павло, был нежным отцом и во многом заменял Марине мать — пел ей песни, рассказывал сказки.

Он не растратил ни капли своей прелестной доброты, да и ума, если взглядеться, тоже, хотя совсем перестал читать. Он подолгу сидел, задумавшись, и, случалось, слезы тихо струились по его лицу. По временам он улыбался неизвестно чему, скорей всего, непроизвольно, или вдруг начинал хохотать, жутким, странным хохотом, на смену которому приходили рыдания.

Дочь обожала его в детстве, но эти приступы ее пугали, и постепенно она от него отходила.

Довольно скоро он, заслышав стук колес, стал выскакивать вместе со всеми на крыльцо, поддавшись общей в их семье тревожной спазме. В доме оставались лишь Олеся и Марина.

Жизнь в кунсткамере задела и Марину, хотя обошлась с этим единственным ребенком в доме довольно милостиво. У нее был легкий, отходчивый характер, натура жаждущая радости и умеющая радоваться всякой мелочи. Но она знала, что ее семья не такая, как другие, стыдилась своих родных, стыдилась себя. Несмотря на явный

и большой успех, она ощущала свое обаяние весьма смутно, легко впадала в неуверенность и искренне страдала, считая себя хуже всех. Этого могло бы не быть, если бы мать, так сильно во всех этих материях искушенная, обратила вовремя внимание на дочь и выправила мучительное для девушки заблуждение.

12

Скрипнула калитка, Марина прошла по дорожке к крыльцу, где сидели на застланных старой плахтой ступеньках ее мать и тетя Христя, тихо пробралась к двери, ни мать, ни тетку не задев, тоненькая, гибкая, прелестная, с мрачными потухшими глазами.

— Бедная девочка, — сказала Олеся, — на нее все эти дни страшно смотреть. А сейчас, мне показалось, совсем дело скверно. И никто не знает, что случилось.

— Я знаю, — сказала Христина.

— Это каким же образом именно ты?

— От Марины от самой и знаю, — чопорно ответствовала Христя.

— И давно?

— Два дня.

— Разве ты можешь молчать целых два дня и не вывалить мне все новости сразу? Ты что, слово ей дала?

— Никакого слова.

— Так почему ты мне ничего не рассказала?

— Не о чем рассказывать. Чушь. Девичьи бредни.

— Она поссорилась с Тимофеем?

— Пальцем в небо! — торжествующе объявила Христина. — Она выдумала, будто бы она его разлюбила.

— Слушай, друг мой, ты когда-то тоже выдумала нечто в этом роде и не считала это бреднями.

— Тут никакого сравнения нет, — возразила Христина. — Марина мне на это тоже намекала, да только это вздор.

— Почему же? Растолкуй мне, будь любезна.

— Я, возможно, была слишком романтична. Я разбила собственную жизнь и осталась никому не нужным одиноким существом, чудачкой и болтуньей, которая два дня молчать не может.

— Прости, мой друг, но чем же моя дочь...

— Твоя дочь отвергает прекрасного человека, доброго, красивого, каких и в жизни-то не бывает, ради совершенно недостойного соперника.

— Она полюбила другого?

— Я сказала бы скорее: вообразила, будто любит.

— Якова?

Олеся вскочила и прежний чудный свет замерцал в ее глазах, сразу

ставших большими.

— Что ты прыгаешь, сестрица? Да, Якова. Эту хмурую разбойничью рожу, на которую и взглянуть-то жутко.

— И ты ей всё это еще два дня назад сказала, и бедная девочка, которую постигла такая драма, получила еще и твою отповедь в придачу? Как всё это вышло? Они объяснились? Яков ее тоже любит?

— Не помню я этого вздору. Какое мне дело, кого он там любит. Главное, немедля выбросить его из головы и ни в коем случае не оттолкнуть Тимофея.

— Бедное дитя мое, по-моему, всё лето только тем и занимается, что стремится не оттолкнуть Тимофея. Как же его можно оттолкнуть — он такой красавец, и так ее любит, и его родителям она понравилась — а вот это уже самое главное!

— Твоя язвительность мне непонятна, причем тут родители? И вообще, мне что-то кажется, только не перебивай меня, сестрица, будто бы ты говоришь со мной как с душой. Не отвечай мне сразу и не вздумай лгать. Я шестьдесят лет живу на свете. Чудачкой меня многие считали, но душой — никогда. Что это значит?

— Ты и в самом деле умна, сестрица, — со вздохом сказала Олеся. — Но ты правильно заметила: сегодня мы коснулись темы, в которой ты глупа. И мне жаль, что я не пользуюсь таким доверием моей дочки, каким пользуешься ты. Будь иначе, в эти несчастные два дня она хотя бы имела бы утешение быть понятой и кое-что понять самой.

— Предоставь мне, будь любезна, это бесценное утешение. Должна сказать, я тоже ничего не понимаю.

— Христя, ты не понимаешь и не поймешь, — усталым голосом ответила Олеся. — Это можно только почувствовать. Однако женщины твоего склада, прости, я хотела сказать...

— Старые девы, — с вызовом подсказала Христина.

— Ох, унижение паче гордости, да, сестрица, да, старые девушки и замужние женщины стародевического толка не чувствуют таких вещей. Что ты тут несла: красивый, некрасивый, разбойничья рожа. — Ее голос взволнованно зазвенел: — Христя, в этом человеке бездна шарма. За ним можно пойти на край света. А бедная моя девочка, — она махнула рукой, — так и рвется между любовью и желанием жить в доме, где с ней все будут сердечны и никто не обидит. Пойду к ней посижу, поплачем вместе.

Христя слушала ее, как школьница, разинув рот.

— Так у Тимофея, стало быть, нет шарма? Шарм бывает только у таких?

— Тимофей — прелестный, милый человек, вполне достойный любви. Будь в нем поменьше обаяния, Марине легче было бы сделать

выбор.

И вдруг Олеся растерянно огляделась.

— Захочет ли она говорить со мной? Странная я мать, увы, не из лучших. Просто боюсь к ней подступиться. Павло! — Крикнула она неожиданно для себя, открыла дверь и вошла в дом.

Христина пожала плечами.

— Павло там будет плакать, а она философии разводить. И все они всё понимают и чувствуют, а я одна старая дева без чувств. А через два дня Марыська выйдет замуж за Тимофея. И всё равно они все что-то чувствуют, а я одна не чувствую ничего, ничего, ничего!

— Сумасшедшая, — сказал Данила, высунувшись из окна. — Перестань колотить по ступенькам, ты же себе все кулаки поразбиваешь в кровь!

13

«Доченька, доченька», — просила Олеся, — «Ну, скажи мне, что тебя гнетет, ну, поделись со мной».

Но Марина лишь качала головой, ей было трудно говорить, ей было трудно думать. «Потом, маменька, потом», — говорила она. — «Я посижу тихонько, я подумаю».

Павло тянул жену за рукав: «Пойдем же, ну, оставь ее в покое». Как стыдно всё это, несчастное их дитя, давно заброшенное, отвыкшее от родителей, и не хочет, не может принять их помощь.

Олеся горько сказала вслух: «Не хочешь, доченька, нашего совета. Прости. Не заслужили». Они были уже на пороге, когда Марина подняла голову и звонко сказала:

«Вы неправы, маменька, я очень прислушивалась к вашим советам. Еще давно, давно, когда у нас тут за столом заспорили, кто лучше, вы сказали, что Тимош хороший, и родители его хорошие люди, вы сказали, он весь светится, а Яков — у-у! И сделали такую хмурую мину. Так что я слушалась ваших советов. А сейчас оставьте меня, оставьте».

И родителям осталось лишь одно — тихонько притворив за собой двери, уйти к себе и уединиться со своим горем, со своей виной и не виной, ибо кто найдет поистине виновного в этой цепи несчастных и виноватых.

— Не кори себя, — упрашивал жену Павел. — Разве ты одна ее подтолкнула, ее всё туда толкало и тянуло. Там покой, там любовь, там тепло, а она, бедненькая, такая необогретая. Она сама туда тянулась, вот ведь что. Не будем ей мешать, пусть посидит, подумает.

— А этот Яков, черт бы его драл, — вдруг заговорил он, и Олеся с удивлением увидела в глазах супруга искры, о самом существовании каких давно успела позабыть. — Что этот субъект себе думает,

уезжает, приезжает, ни письма, ни визита...

Олеся представила себе «визит» и не удержалась, усмехнулась.— Нет, в самом деле. По чести говоря, его бы на дуэль надо вызвать, но очень уж... неуместно.

— Вот именно, — подтвердила Олеся.

14

— Добрый вечер, панночка! — сказал Тимош, входя в «гостиную», крохотное убогое зальце. Ему трудно было сейчас выговорить их обычные ласковые слова, и Марина поняла его.

— Здравствуй, Тимош, — сказала она просто.

— Как здоровье? Мне показалось, вроде бы, нездоровится тебе? — спросил он озабоченно. Она кивнула.— Так я не буду нынче досаждать. Приду завтра. А сейчас только минутку посижу. Странная она девушка, скверная девушка. Ей сначала показалось, что он готов сразу встать и уйти, и вот она обрадовалась этой минутке.— Посиди со мной немножко, — попросила она и посмотрела на него доверчиво и грустно.

— Может, чаю хочешь?

— Нет, спасибо, чаю не надо.

Такая милая, такая своя и смотрит родными, доверчивыми глазами. Словно хочет взглядом этим сказать: «Плохо мне, Тимош, плохо».

Они сидят, молчат.

— Марыся, — говорит он вдруг, — ты ничего мне сказать не хочешь?

— Нет, — испуганно отвечает она. — А что я должна, по-твоему, сказать?

— Ну, не знаю, — неуверенно произносит Тимош. — Ты ведь заболела. Может быть, отложить немного нашу свадьбу?

— Ты хочешь этого? — вскидывается она.

— Я для себя ничего не хочу. Я хочу так, как тебе будет лучше.

Она молчит и думает, совсем недолго, и отвечает тихо, ровно, монотонно.

— Ничего не надо откладывать. Если ты хочешь сделать, как мне лучше, не откладывай ничего.

15

Над Шаповаловкой сияло яркое солнце, а над Овражками, к которым подъезжал в то время Яков, всё небо было в низких серых тучках, мелких, но бесчисленных тучках, из которых стремительно сыпались, холодные впервые за всё лето, остренькие капельки дождя. И этим мелким и холодным дождиком завершался весь сегодняшний бесконечно длинный, поганый, черный день.

Начинался, впрочем, он обманчиво. Ранним утром, когда Яков выезжал из Овражков, так красиво сверкала роса и так дивно пахли травы, и такие попадались ему по дороге большие занятные птицы — в лесу близ Шаповаловки не водилось таких.

Единственное, что слегка царапало его самолюбивую душу, был неполный успех его трехдневных поисков, верней, успех-то был полный, но не блистательный. И Овражки эти не Бог весть что, небольшое, ничем не примечательное поместье. В нем и управляющего не полагалось, а просто приказчик. Поселился новый приказчик не в доме, а в маленьком флигельке, обыкновенной белой селянской хате, но по его нраву это было даже лучше. Живешь сам по себе, ни от кого не зависишь. Помещик в доме не жил, но в нем шуршали разные старухи, смахивающие на теток Марины.

И тут сердце у него подскочило — он представил себе, как входит в дурацкий их дом, и его ведут в какую-то гостиную, гостиной, впрочем, у них нет, а есть весьма неуютное зальце, где он был с отцом зимой и где они впервые увиделись с Мариной. Тогда они молчали оба, а сейчас она выйдет к нему, бледная, со счастливыми перепуганными глазами, и он скажет ей: «Серденько, я всё сделал, как тебе хотелось. Ты боялась, что тебя будут обижать мои родители, и сам я этого боялся, но я нашел тебе беленький теплый домик, где ты будешь хозяйкой, и никто тебя не заденет, а я буду оберегать тебя от всяких бед».

Им, конечно, долго жить там не придется, он нарочно заключил контракт всего лишь на полгода. Если отец не согласится его отделить, он найдет место получше, чем Овражки, и не так уж много времени пройдет, пока он сам станет хозяином, пусть поначалу и не крупным. О всех этих делах с новой, лучшей службой и покупкой маленького участка он не мечтал, он просто знал, что так будет, знал свою силу, знал свое умение, знал, что не было такого случая, чтобы он не добился цели.

И единственное, чего он не знал, это, что же там происходит с Мариной. Всегда во всем уверенный и твердый, он не был ни уверенным, ни твердым с ней. Видел же, с самого начала видел, что она его любит, а с Тимошем ей всего лишь спокойней и проще, знал, и все же сомневался и допустил до такого... Даже сейчас, когда они объяснились, он уже точно знает: да, любит, но понятия не имеет, отказала ли она Тимошу, отложила ли свадьбу, поделилась ли хоть с одним человеком в своей нелепой и вздорной семье. Очень может быть, она их встречу сохранила в тайне, и о том, что они порешили, не сказала ни одной душе. Разве что одной какой-нибудь, робкой и скрытной, вроде себя самой.

Подъезжая к Высокому, он вдруг понял, что еще слишком рано,

семейство козиных головок вполне могло и почивать. Поторопился он, сорвался ни свет ни заря. Серый чувствовал его нетерпение и отмахал немалый путь за удивительно короткий срок.

В селе было пусто — все в поле, бабы на хозяйстве, детвора в ставке. Только от кузни шагал косолапый, долговязый и беловолосый Кондрат Хало.

Поздоровавшись, Яков с изумлением почувствовал, как у него то громко бухает, то замирает сердце.

— О, — сказал Кондрат. — А люди говорили, ты кудысь на заработки подался.

— Меня тут не было несколько дней, — уклончиво ответил Яков. — Есть какие новости в деревне?

— Ну, чтоб какие-то особенные новости, — не торопясь, изрек Кондрат, — то этого сказать никак нельзя. Есть одна новость, да ты, небось, и сам знаешь: через два дня будем на свадьбе гулять. Кровь отхлынула у Якова от лица.

— На чьей свадьбе? — спросил он чужим голосом.

— То есть, как это, добрый человек, на чьей свадьбе? Дети малые и те знают. Головани Тимоша своего женят на Щапорцовской панночке.

— А, — сказал Яков. — Ну, что ж, будь здоров, Кондрат, если больше нет новостей.

И сразу, не задумываясь, повернул коня в сторону отцовского хутора. То, что казалось ему только что вполне возможным — любит, но никому ни слова не сказала, ожидая от него вестей — вдруг пришибло его, как роковая неожиданность, опрокинувшая все его планы. Ждет от него вестей и пока молчит, но ведь свадьба через два дня, к ней готовятся полным ходом.

Он носился все эти дни по дорогам и без дорог, он просил, расспрашивал, давал обещания, угощал каких-то пройдох горилкой. А она не шевельнула даже пальчиком. Сонная деревня, косолапый Кондрат и никаких новостей. Как же дальше? Он войдет в ее замшелую гостиную и скажет: серденько... И тут вдруг сердце его пронизала сладкая боль. Да, он войдет, он скажет, он возьмет на себя все и увезет ее в их дальний белый флигелек. Что же делать, если она такая? Неужели она скажет: передумала, и этого не может быть?

И на отцовском хуторе было пусто. Он разнуздал коня и пустил его попасться. Конь был золото, умница, возле собственного дома Яков его никогда не привязывал.

Он выпил в сенях узвару, большую полную глиняную кружку, вошел в горницу, сел на лавку, откинувшись к стене, закрыл глаза. Вероятно, от пережитого только что волнения его сморила сильная усталость. Он посидит здесь, отдохнет немного и пойдет к своей милой,

предоставляющей все делать ему, только ему.

В соседней комнате заскрипели половицы, Яков смешливо прищурился, узнав грузную и одновременно быструю походку матери. Прошелестели еще чьи-то легкие шаги.

— Так она тебе сперва понравилась, а после разонравилась, — говорила мать. — Почему так получилось? Вы же не поссорились?

— Нет, мы никогда не ссорились, — торопливо ответил чей-то девичий голос. — Просто мне противно, когда девушка себя так ведет.

— Как? — осведомилась хозяйка дома. — Делает, что хочет, совсем себя не уважает. Из-за этого могут подумать, будто бы все девушки такие. Верно?

— М-м, — сказала мать.

Марфушка Лебединец, сообразил наконец Яков. Им почти не приходилось разговаривать, поэтому и голос этой очень уж незаметной, застенчивой девушки он не сразу узнал.

— Вот понравился ей Тимофей, — продолжала Марфуша. — И ей дела нет, как он сам к ней относится. Вешается ему на шею, глазами на него блестит, в разговоре всё время цепляет и выходит, будто это он к ней тянется.

— Ну уж, если бы не тянулся, то не женился бы.

— В том то и дело, что не нравится она ему, — тихим голосом, но горячо возражала Марфуша. — Он другую любит. Я говорила ей, Марыське, я всю правду сказала ей. Видели бы вы, как я ее этими словами просто к земле прибила. Для меня правда важнее всего. Пусть мне самой будет плохо, но я стою за правду. А она не хочет правду знать, смотрит на меня такими жалкими глазами, будто хочет выпросить: ну, скажи, скажи, что он меня любит. А я ей твердо объясняю, кого он на самом деле любит, и все другие ничего не стоят для него.

— Это кого же? — любопытствовала мать.

— Килину Людкевич, — гордо, четко ответила Марфа.

— Что-то ты, дивчина, чудное говоришь, — усомнилась Шерембеиха. — Любил бы Килину, на ней бы и женился. Они гуляли раньше, помнится мне.

— Килина гордая. А эта лезет, лезет, а парубки такие дураки. Ему ж приятно, что в него девушка так влюбилась и смотрит на него такими глазами, я бы померла, а не посмотрела так. Опутала его всего.

— А других парубков она тоже опутывает?

— Других? Это кого?

— Ну, разных других. Якова моего, к примеру.

— Она рада бы всех себе под юбку запихать, — затараторила Марфуша. — Всем хочет нравиться. Всех завлекает мимоходом. Но

любит только Тимофея. Вы бы видели, пани Мацук, как она, когда мы с нею говорили, на меня с такой мольбой смотрела. И голосочек жалобный, тоненький. «Не провожай меня, у тебя много работы». И в глазах ее чернящих такая тоска.

— А другие, говоришь, все мимоходом?

— Да. Это жадность такая женская, в одного стрельнет глазами, другому улыбнется, третьему черте чего наговорит. Но что Тимофея любит, я голову на плаху положу. Тут уж ей было не до смеху, вся раздавленная она уходила от меня.

— Складно рассказываешь, дивчина, но... Ладно, ты беги. Ты ж бежала куда-то?

— Да я на поле к отцу бежала, сниданок отнести.

— Вот и беги.

Оставшись одна, Шерембеиха прошла по комнате и сказала:— Складно-то складно, но не складывается ровно ничего.

Яков, будь он в другом состоянии, тоже давно бы уж сообразил, что ревнивая девчонка несет несусветную чушь, изо всех сил стараясь опорочить соперницу. И, возможно, даже верит своим нашептанным ненавистью словам.

Но он не был в этот день сам собой. Он был взволнован, напряжен, и любое недоброе слово, каким бы оно не было нелепым, больно било по его напряженным нервам. Услыхав от Кондрата Хало, что в деревне нет никаких новостей, кроме приближающейся свадьбы, он сразу помрачнел и стал еще тревожнее.

А снедаемая завистью Марфа, совсем не думая о Якове, даже когда произносила его имя, так и сыпала словно специально подобранные, оскорбительные, обманчиво правдоподобные речи. Он закаменел. Сказал матери, что торопится в Овражки, а заехал только на минутку, быстро собрал вещи и простился.

Мать вела себя на редкость тихо, радуясь неожиданной удаче. Нарочно ей бы ни за что не удалось подстроить столь убедительные доводы против нежелательной невестки.

Конь отдохнул, он мчался быстро, внезапно поднявшийся ветер хлыстал Якова по лицу, а невыносимые, обидные слова хлытали по сердцу: «мимоходом», «всех завлекает мимоходом», «жадность женская», «рада всех под юбку запихать». Это не могло быть правдой, это чудовище какое-то, а не его Марина. Но «в глазах ее чернящих такая тоска», и тоненький голосочек, которым она сказала этой злыдне «не провожай меня, у тебя много работы» и просящий, жалкий взгляд: «ну, скажи, что он меня любит», — все это так похоже на Марину, это было, не хватит у этой девки ума такое выдумать.

Четыре часа верховой езды его не утомили. Он и во флигеле места

себе не находил, к обеду не притронулся, прилег было, но не сумел заснуть, словно острые ножи полосовали его по сердцу. Он вскочил и вышел из дому. Где он только не побывал, куда только не носило его жгучее, болезненное беспокойство. Дождь перестал, повсюду копошился народ. И он метался по усадьбе — обошел луга, сходил на скотный двор, потом отправился на картофельное поле, а безжалостные ножи всё полосовали его изболевшееся сердце. И что-то надо было вспомнить, чтобы сердце перестало болеть, но истерзанное сердце не давало ни о чем думать.

Бабы, не разгибаясь, двигались по грядкам, их покрасневшие руки проворно выбирали из мокрой земли розовые грязные картофелины. Много раз виденная, с детства знакомая картина. Он и сам когда-то еще маленьким мальчиком вместе с матерью ходил копать картошку и старательно вытаскивал из холодной земли такие славные тяжелые клубни. Вот и здесь на краю поля копошатся чьи-то малыши.

Он не мог понять, почему, взглянув на малышей, вдруг вспомнил то, что весь день старался вспомнить. Раздумчивый голос матери, недоверчиво проговоривший: «Складно-то складно, да не складывается ничего».

В самом деле, сколько вздору наплела эта Марфушка — и про любовь Тимофея к Килине, и Марина, деликатная, запутавшаяся Марина выглядит в ее речах бедовой девкой, охочей до парней. Вздор, какая же она бедовая? Ведь сама же Марфа то и дело повторяет: голосочек жалобный, жалостные глаза.

Видно, люто ненавидит эта белобрысая свою черноокою подружку. Они ведь дружат — или раньше дружили? — он их часто видел вместе, бывало, всё о чем-то говорят. За что она ее так невзлюбила? Зависть? Но о Килине она говорила хорошо. А ведь Килина и богата и красива, да к тому же, в отличие от шапорцовской, их семью все уважают. Странная штука эта девичья зависть. Ни в речах, ни в чувствах ладу нет. Вот и мать ведь тоже так сказала: «Складно, а не складывается ничего». Даже мать, готовая поверить всякому дурному слову про Марину. Мать не поверила, а он поверил! Дурак!

— Все хмурились, пан приказчик, а вдруг прояснились, — крикнул звонкий девичий голосок. Другой голос, женщины, как видно, постарше, подтвердил: «Эге ж!» и все засмеялись. И как ухитряются чертовы бабы, глядя в землю, следить за выражением его лица? «Еду завтра с самого утра. Нет, с утра не выйдет, часам к трем там буду». И вдруг с ужасом подумал: «Куда откладывать — послезавтра свадьба. Черт с ней, с мельницей, еду с утра».

Низкий женский голос начал «Ой, за лугом», остальные подхватили, раскатали звонко, а от звонких этих раскатов стройно, медленно,

неуловимо, опустили мелодию низко, потом еще ниже, сводя ее в какие-то неведомые бездны и глубины диких стародавних веков.

Наши тоже так ее поют, подумал Яков, так же дико, грозно. И голоса хорошие есть. Вон та, высокая, в зеленой хустке, как колокол гудит. Красиво, за душу берет. А всё ж таки крипачка — не казачка! Сделав этот неожиданный вывод, он быстро зашагал к селу.

16

У Голованей вечерали варениками, помолившись перед вечерей, как положено добрым христианам. Вареники были с картошкой и с мясом. Еще стояло блюдо с маковым пирогом и кувшин молока. Семейный совет начался сам собой, без торжественного объявления, за варениками.

— Ну как там наша невеста? — спросила Ульяна. Спросила мягко, ровно, спрятав напряжение. Спросила не по имени, как обычно «Марина» «Марыся» — не выговаривалось у нее сегодня имя. — Не получше ей?

Тимош поднял голову, взглянул на мать, словно ждал от нее какого-то объяснения, что ли.

— Нет, совсем ей не лучше, ей плохо. Все эти дни она была как в лихорадке — то молчит, то говорит, и еще как разговорится, смеялась даже. А сегодня вся какая — то пришибленная, жалостная. Глаза... не дай Бог — такие тоскливые, такие печальные, будто, знаете, мамо, нет и никогда не будет радости для нее.

— Ксенья рассказывала, — вспомнила вдруг Ульяна, — в лавке у Фроськи, когда Фроська накричала на дивчат, Марина тоже была. И будто Фроська ей сказала: сидите, панночка, в сторонке, вас это все не касается. А потом стала ведьмовские фокусы показывать, напугала девчат, а твоя Марфушка хуже всех перепугалась, так, говорят, тряслась, аж страшно было глядеть.

— Чего это она моя? — обиделся Тимош. — Сам знаешь. Если бы на ней женился, она бы, уж не знаю что — ноги мыла бы тебе.

— Еще чего, — сказал Тимош. — Что, я сам не могу себе помыть ноги? Не малое дитя.

— Дитя ты мое малое, дитя ты мое милое, — вздохнула мать. — Не ершись. Так, как эта дивчина, тебя никто не полюбит.

— Мамо, — с горечью отозвался Тимош, — неужели я лучшей доли не стою, как взять себе жену только за то, что она сама меня выбрала.

— Стоишь, сынок, стоишь и красивых, и милых. Вон Килина красивая, тоже не захотел.

Ульяна засмеялась, покачала головой:

— Всех нас замучила эта дивчина. За неделю даже батько, видишь, какой стал — на три аршина морду повесил, — а вот лежит у меня к ней душа. Что-то с Яковом у нее случилось, что ли он ее приворожил. Может, Фроську просил, может уж не знаю как. Она ведь ему нравилась с самого начала, главный твой соперник был.

— Яков приезжал сегодня утром, — объявил Федор. — Был тут у нас в Высоком, ни к кому не заходил.

— А вы откуда знаете? — встрепенулся Тимош.

— Кондрат Хало его видел. Он, Яков, значит, с дороги, с лесной стороны въехал в село, поговорил немного с Кондратом и сразу на свой хутор повернул.

— Ну, а дальше всё известно, — закончила Ульяна. — Побыл дома полчаса, в сундучок вещи покидал и уехал на свою знаменитую новую службу. И какая только муха его укусила, от родных отца и матери, с доброго хозяйства вдруг подался в наймы, в какую-то глухомань.

Тимош вдруг заговорил, сбивчиво, волнуясь, звонко.

— Мамо, батько, поглядите — всё, ну, прямо всё к тому ведет, что он хотел с Мариной повидаться. Зачем он приезжал? Что ему делать у нас? Чего он, как коршун, тут над нами кружит? А она такая ходит пришибленная, просто сердце болит. Я сказал: может, отложим свадьбу, пока ты не поправишься? А она: нет, нет. А сама такая горькая, такая замученная.

— Не захотела? — быстро спросила Ульяна. — Вот такая вот замученная, такая горькая, словно не к венцу ее ведут, а Бог знает куда, а свадьбу отложить не хочет? Почему? Разве же не надо ей подумать, разобраться? Так нет, давай быстрее, живей. Словно сбросить что-то с плеч торопится.

— Ей ни в чем не надо разбираться, — внезапно резко возразил Тимош. Сказал твердо, уверенно, будто это не он только что жалобно, как мальчик, заглядывал в лицо родителям, словно это не его голос еще мгновение назад так тревожно, так взволнованно звенел. — Ей не в чем разбираться, — повторил он. — Тут одно лишь нужно, чтобы нам с ней никто не мешал.

Он знал, что нужен ей. Три месяца назад, впервые встретив на опушке леса эту девушку с распущенными, словно у русалки, волосами, такую необычную, очаровательную, беззащитную, он поймал глазами ее взгляд и прочел в нем: «ты добрый». И его сердце с этого мгновения принадлежало ей, девушке, которая с первого взгляда попросила у него не любви, а защиты, заметила не красоту, а доброту.

Но она тут же заговорила с Яковом, заговорила сама, и сердце Тимофея отозвалось болью — он не только защищать ее хотел, он хотел любить. Ревность к Якову кольнула больно, но не надолго. Эта

выросшая в одиночестве панночка, впервые оказавшись среди сверстников, так вертела головой, черные очи ее глядели на всех с таким радостным доверчивым любопытством. И всё же на него, на Тимофея она глядела чаще, чем на других, и каждый раз он читал в ее взоре: ты надежный, ты верный, ты добрый.

Глядела она и на Якова. И на него глядела часто, но ведь Яков оказался единственным из их компании, кого она встречала прежде.

Федор покашлял. Он и так—то не из разговорчивых был, а тут еще такие сложные материи.

— Дивчина она хорошая, — хрипловато сказал он. — Дивчина она совсем не плохая. Только ты ее сейчас не слушай, сын. Ты мужчина, дело тут серьезное. Она просит не откладывать свадьбу. Это что же выходит? Вот такие вы оба замученные, взбаламученные, пойдете в церкву и свяжете себя на всю жизнь. А там опять нагрянет Яков, через год или через неделю и увезет твою жену. Это какой же позор. Это какое же всем нам горе.

Тимош молчал. Лицо его стало замкнутым, твердым. Яков, Яков, вечно Яков на каждом шагу. Ничего особенного он, казалось, не совершал. Вежливо кланялся, роняя с шутивой церемонностью: «Добрый день, панна Марина». И Марина откликалась, так же весело и чинно: «Добрый день, пан Яков». И смешливые искорки зажигались в черных очах. Она не смотрела на Якова, как бы ища защиты. Но, что правда — то правда, всегда оживлялась при нем.

И были те вечерницы, у Фроси на заднем крыльце. Месяц тому назад? Да, пожалуй, побольше. Марина радовалась всему, чего была до сих пор лишена, и на вечерницах вся растворялась в окружающем ее молодом веселье, в песнях, в нежной ночной теплоте.

Ночь выдалась яркая, лунная, на редкость тихая. Теплый ветерок шептал что-то в листе, нежный ветерок черниговской июльской ночи. Заливались соловьи. Им не мешало пение людей. А люди пели, пели без конца, пели, как говорят на Украине, до схочу. Пели грустное и нежное, привольно разливавшееся в этой нежной серебряной мгле, пели лихие песни с посвистом, одни мужские голоса гремели. То казаки шли в поход, а нареченные их ждали, и протяжные высокие девичьи голоса тосковали в разлуке, а порою оплакивали погибших, тихо, безнадежно и чарующе красиво. А середь поля гнеться тополя

Тай на козацкий могили...

И все притихли на мгновенье, всем она виделась сейчас — одинокая казацкая могила и в отчаяньи гнущиеся на ветру тополя.

А потом раздался четкий и негромкий струнный перебор и стало очень тихо. Все — кроме Марины — знали, как поет Яков «Бандуру», но никогда он не пел ее так, как сейчас. Всё ушло — и соловьи, и

прелесть лунной ночи, и песни о походах, и песни о любви, сколько их тут прозвучало нынче, этих песен о разных любовях — счастливых, грустных, запретных, неразделенных.

Одна любовь была на свете — великая и мощная, как ураган, и слова, вызывающие к жалости, не вызывали жалость. Сильный гордый человек признал, что и над ним есть власть, и не просил, но требовал пожалеть его, прекрасный в своей гордости, покорности и силе.

Марусына, сердце, пожалей мэнэ,
Визьми мое сердце, дай мэни свое.

Бледные в лунном свете, потрясенные лица дивчат, глаза у них сверкают и широко раскрыты, примолкли парубки, все тянутся к певцу. А Марина, что же с ней творится? Ведь эта песня, эта гордая страстная просьба к ней обращена, только к ней. Тихо, тихо сидит она рядом с Тимошем, и он замер — ему страшно: что если ее подхватит и унесет этот ураган? Ему страшно повернуть к ней голову — что прочтет он на ее лице? Да что он, в самом деле, так запугал себя? Он заглядывает ей в лицо и быстро отводит взгляд.

Страшно, горько, когда твоя милая слушает другого, так глядя на него. Ах, да что он в самом деле, у всех девушек блестят сейчас глаза, а ведь каждая сидит со своим парубком. Вечерницы кончатся, хлопцы проводят своих девушек домой. И он проводит свою панночку в ее обитель. Они пришли вдвоем, сидят и слушают вдвоем и вдвоем уйдут отсюда. Ох, не вдвоем они слушают песню. И никто здесь, кроме него, не боится, что эта песня унесет, как ветер, его милую.

Вздор, выдумки, что за глупость ему в голову идет? Якову нравится Марина, и он поет сейчас одной Марине, ну и что же... Не это главное, важнее всего то, что они вдвоем с Мариной, и во всем огромном мире нет больше никого. Их двое — только это важно.

— Нас двое, — сказал Тимофей, повернувшись к отцу. — Чего ради мы о ком-то должны думать, ради кого-то откладывать свадьбу? Мы — жених и невеста, послезавтра нас обвенчают. Нас двое, и до посторонних мне дела нет.

— Ты можешь, заплющивши очи, хоть до утра твердить, что вас двое, — не без досады возразил отец, — но третий есть и никуда не денется. Это знают и в Шаповаловке, и тут у нас, и ты знаешь об этом уж никак не хуже прочих. Так что перестань твердить одно и то же, как бабка-ворожка, а давайте всё же рассудим, что делать.

— Правда, сынок, правда, — подхватила Ульяна. — Ты пойми, она ведь от отчаянья спешит. Дай ей время успокоиться, сынок. Может быть, она сама подумает и разберется в своем сердце, может, с Яковым поговорит. Ну что ты так вскинулся? Потерпи. Есть у меня в душе надежда, что она к тебе вернется. Только не спеши со свадьбой и ей

не позволяй спешить.

— Ты всё заладил: нас двое, нас двое, — не мог успокоиться Федор. — А не приходит в твою дурную башку — хлопец ты у нас умный, а башка всё же дурная — что этот третий, может быть, сейчас к ней в дверь стучит, что сейчас там без тебя двое? Так что не торопись поперед батька в пекло, а зайди-ка лучше завтра к отцу Никодиму. Иерей у нас дуже мудрый и весь приход знает насквозь. Уж он придумает, как сделать, чтобы ты со своею невестой не бросались в эту свадьбу, как в омут.

— Только будь потверже, сынок, — добавила Ульяна. — Ты же мужчина, ты казак, а с ней всю волю потерял.

Тимош нахмурился. Ну вот, даже мать не понимает, сколько сил ему стоит его спокойная шутивая манера. От природы дружелюбный, да к тому же красивый, он вырос в атмосфере всеобщей любви, но всегда, даже в ребяческие годы, был сдержан.

Но как же тяжело ему было сейчас. Он не просто ревновал Марину. С самого начала его изводила, мучила постоянная неуверенность в ее любви. Он знал, что ей всегда с ним хорошо, что она рада его приходом и огорчается, когда он уходит, но он не чувствовал в ней той страстной, жаркой, заполняющей весь мир любви, которая владела его сердцем.

И всё же он надеялся, что она любит его, только по-своему, легко и без боли. Ведь Марина по натуре сущее дитя и, возможно, просто не способна испытать ту грозную, мучительную страсть. Зато им так весело, так славно друг с другом, и, быть может, радость их ничем не омраченных встреч связала их прочнее любой страсти. Он поверил в это всем сердцем. Он всем сердцем ощущал эти связывающие их невидимые миру узы.

И вдруг, когда он уже почти перестал бояться, свершилась эта катастрофа — он узнал, что и Марина способна испытать ту страсть, которая, как он надеялся, придет к ней постепенно, безболезненно и мирно в их счастливом браке. Он растерялся, он не знал, что делать. Он жалел ее, как больного ребенка. Он предложил ей отсрочить свадьбу и услышал: «Нет, нет». Она по-прежнему его не отпускала.

Он пришел домой потерянный, с израненным сердцем, и самые близкие, самые любящие его люди, отец и мать, настойчиво и твердо велели ему обождать, пока Марина объяснится с его соперником и разберется в своем сердце.

Тимош спокойно и слегка насмешливо взглянул на отца.

— Так какой вы, батько, мне срок положили его дожидаться? Неделю? Год? А может быть, три года, как в сказке?

— Ты не насмешничай, — сердито сказал Федор. — У Шапорцов сидишь, небось, тише воды. А с отцом, гляди, какой пышный. — Он

посмотрел в лицо сына, в его прищуренные карие глаза и смутился. — Черт их знает, сколько их дожидаться. — Потом в глазах Федора, тоже карих, но поменьше, чем у сына, и потемнее, тоже вспыхнула смешливая искорка. — Да куда там три года. Надо думать, повстречаются на днях.

— У нас нет этих дней, — сухо сказал Тимош. — Свадьба послезавтра. Пока мы ее не отсрочили, люди, конечно, поговаривают о нас, строят разные домыслы, но все потихоньку. Мы не выставили себя прилюдно злым языкам на потеху. Но если мы отложим свадьбу, тут такое пойдет...

Он представил себе растерянное лицо Марины, к которой, словно сорвавшись с узды, ринутся все местные сплетницы, он представил себе, как она смотрит на него с укором. Она просила, он ей обещал. И не послушался. Такого у них не бывало.

Ульяна удрученно покачала головой.

— Не то, не то ты говоришь, сынок. У них было что-то с Яковом, разговор какой-то, что-то они не договорили. Подожди хоть немного. Марина и правда совсем расхворалась. А бабы эти, сплетницы — тьфу на них, было бы из-за кого жизнь ломать.

— Моя... наша с нею жизнь ломается, неужели вы не понимаете, мамо?

— Сынок, — просила чуть не со слезами мать. — Ты же видишь, он бросил дом, ушел от родителей. Он непременно вернется за ней. И что ж вы будете делать, если вас уже обвенчают, а жена твоя уйдет с другим? Разве законных жен не увозят? И останешься ты на всю жизнь бобылем. И они в грехе будут жить.

— Если такое случится, — медленно произнес Тимофей. — Если такое случится, и она, уже будучи моей женой, захочет от меня уйти, я не стану ее удерживать. Одного только никто от меня не дожидается: чтобы я сейчас сам отсрочил свою свадьбу да еще для пущей верности самолично съездил в Овражки просить пана приказчика, не пожелает ли он посвататься к моей невесте.

— Ох, сынок, сынок, не то ты говоришь, — покачала головой Ульяна. — И глаза у тебя нехорошие, никогда я у тебя таких не видела.

Тимош встал, и, не оглядываясь, пошел к дверям. Федор и Ульяна встревоженно прислушивались к его шагам. Потом Ульяна с облегчением сказала: «На сеновал пошел ночевать». Куда он мог еще пойти, что им померещилось в эти секунды, они и сами не знали.

Храм великомучеников Бориса и Глеба был невелик, но отличался благолепием и соразмерностью постройки. И хоть не славился он

пышной росписью и богатством убранства, был у архиерея на хорошем счету, благодаря усердию и заслугам пастыря своего, отца Никодима. Иерей Борисоглебского храма был не токмо тверд в вере, но и характером тверд, к тому же обладал пытливым, проницательным и любознательным умом. Каждый прихожанин и прихожанка являли собой в его глазах интересную книгу, которую он стремился внимательно прочесть или на худой конец перелистать. Благодаря чему знал паству свою насквозь, как справедливо сказал старший Головань, и направлял ее на путь истинный с разумной строгостью, стараясь по возможности не допускать буйного разгула сплетен и неизбежного их следствия: перебранок, потасовок и междоусобных стычек, то и дело случавшихся в соседних приходах на радость сатане.

При столь больших достоинствах, был священник высочанской церкви роста умеренного, коренаст, краснолиц, слегка плешив, с пышной темно-рыжей бородой и небольшими, но пронзительными карими глазами.

В своих действиях отец Никодим чтит скорее дух, нежели букву, и душевные беседы нередко вел не в церкви, а в собственном доме, порою даже в огороде или в саду.

Вот и сейчас, удобно расположившись в старинных низких креслах, в уголке небольшой комнатки, служившей батюшке и кабинетом, и гостиной, он пристально разглядывал лицо сидевшей перед ним на лавке юной прихожанки.

Отец Никодим, как было уже сказано, хорошо знал своих прихожан, конечно, кого больше, кого меньше, но в какой-то степени знал всех. И уж разумеется, он знал семьи. Богатые и бедные, сварливые и дружные, нескладные и поворотистые. Худенькая девушка, сидевшая перед ним на лавке, бледненькая, со светлыми белесыми волосами, аккуратно заплетенными в косы, и бледно-голубыми выпуклыми глазами, как известно было иерею, являлась старшей дочерью в семье, где детей было много, прибытков — мало, а любимым словом родителей — несправедливость. Лет десять тому назад Марфуша Лебединец, а читатель, надеюсь, уже узнал ее, усердно посещала беседы о Священном Писании, для которых отец Никодим временами собирал сельскую детвору. Батюшка заметил некрасивую, но умненькую и старательную девочку и, видя добрые ее задатки, приложил немало усилий, чтобы спасти ее от пагубы, гнетущей ее родителей, постоянно снedaемых завистью и проклинающих свою судьбу. Употребив незаурядное красноречие, отец Никодим внушил Марфуше, что трудолюбие, усердие в вере и доброжелательность к ближним помогут ей обрести душевный лад и внутренний свет, обладая коими, ей нетрудно будет снискать уважение окружающих, найти друзей,

а со временем стать хозяйкой счастливого дома.

Успех был поразителен. Марфуша со всем усердием замкнутой и пылкой натуры ринулась в осуществление добрых дел, а слово «несправедливость» исчезло из ее лексикона.

Шли годы. Девочка Марфуша превратилась во взрослую девушку, не красавицу, но приветливую, работающую и скромную, усердную помощницу в церковных делах. Одно лишь обстоятельство смущало батюшку — у Марфуши не было подруг. Он объяснял это ее застенчивым и замкнутым характером и надеялся, что рано или поздно появится и подруга.

А характер у Марфуши оказался и впрямь скрытным. По некоторым ее оговоркам проникательный батюшка определил, что Марфуша полюбила Тимофея Голованя, очень красивого, зажиточного и совершенно равнодушного к ней молодого казака. Но Марфуша не обмолвилась об этом ни единым словом духовному отцу. Что, впрочем, не встревожило отца Никодима. Пустым мечтаниям о невозможном Марфа не предавалась и не завидовала ни богатым, ни красивым невестам. Батюшка даже однажды специально завел с нею речь о первых в округе богачках и красавицах: Килине Людкевич и Насте Плахтий. Полная виктория. Какой бы скрытной не была его ученица, будь в ней хоть малая капля зависти, настороженный пастырь ее бы уловил. И ведь поразительное дело — Килина Людкевич нравилась Тимофею Голованю, он открыто за ней ухаживал и, вероятно, вскоре должен был посватать. Непостижимая же Марфуша ни малейшей ревности к ней не ощущала, а скорее приязнь. Обстоятельство столь же похвальное, сколь удивительное. Нежданно—негаданно Марфуша обзавелась подругой. Внешне сдержанная до оцепенения, она ринулась в эту дружбу со всем жаром необузданной своей души и даже сбегала разок—другой к отцу Никодиму, поделиться неиспытанным доселе счастливым чувством дружбы. «Я для нее всё готова сделать, всё свое самое лучшее отдать. И она так радуется, что я с ней дружу, у нее ведь никогда подружек не было». «Хорошая она девушка?» — полюбопытствовал отец Никодим, который Марину, конечно, знал, но больше по виду, ибо дикое ее семейство почти не показывалось в церкви. «Хорошая!» — решительно отвечала Марфа. «Тихая такая, скромная, деликатная, всегда готова уступить. Я раньше думала, что если из плохой семьи, как у Гавришей, к примеру, вы сами, батюшка, знаете, что у Петра, что у Микиты, — все девки грубые, нахальные, а Марина нет, совсем наоборот, не только не нахальная, она робкая, жалкая даже».

«Жалкая» — это слово покорило слух отца Никодима. Поразило его также, как Марфуша могла сравнить деликатную изящную Марину

с отпрысками братьев Гавришей, известных в округе тунеядцев и пьяниц. Возможно ли, не без тревоги подумал он, что Марфа так долго ни с кем не дружила, потому что ей хотелось покровительствовать подружке, и взирать на нее сверху вниз.

— Интересно тебе? Нравится с ней разговаривать? — осторожно задал он вопрос, желая выяснить, чем, кроме уступчивости, пленила Марфу ее первая в жизни подруга.

— Очень нравится, — с жаром сказала Марфуша. — Мы как встретимся, так никак наговориться не можем, всё говорим, говорим.

Время шло, Марфушины восторги начинали иссякать. «Странная она какая-то», — сказала она однажды отцу Никодиму, осведомившемуся о Марине. «Это чем же?» Марфуша не отвечала и, опустив свою белобрысую голову, босой ногой шевелила выбившуюся на дорожку огуречную плетть, ибо беседа эта происходила на огороде отца Никодима. «Делает всё по-своему», — проговорила она наконец и подняла глаза. «Я ей говорю, как надо, намекаю, прямо говорю, а она как будто соглашается, да только на словах. Вот такой даже пустяк. Трудно разве косу заплести и не ходить патлатой. Да если б только это...». Отец Никодим покачал головой. У Марфуши проявлялся властный характер, и не во всем послушная подруга, вероятно, чем-то сердила ее, только едва ли незаплетенной косой. Что ж у них на самом деле-то творится, думал батюшка.

Впрочем, долго раздумывать ему не пришлось. Кроме Марфуши Лебединец, были у отца Никодима и другие прихожанки и, повествуя ему о грехах своих и делах, довели между всем прочим до его сведения, что с тех пор, как Шапорцова панночка вошла в круг местной молодежи, все хлопцы влюбились в нее, как скаженные, а пуще всех Яков Мацук и Тимофей Головань. «А, ну что же, ревнует к Тимофею, дело ясное», — подумал отец Никодим. Однажды после службы Марфа подошла к священнику и взволнованно попросила ее исповедовать. Батюшка обрадовался, ожидая услышать, как его духовная дочь наконец-то покается в недостойном чувстве ревности, смущающем ее душу. Каково же было его удивление, когда вместо покаянных слов всегда тихая и сдержанная Марфа дрожащим голосом поведала ему, что ненавидит Марину и желает ей зла.

— И в чем же провинилась твоя недавняя подруга? — осведомился отец Никодим.

— Она блудница, — ответила Марфа. — Она вешается нашим парубкам на шею, соблазняет их и отбивает у невест. Ее дьявол к нам сюда наслал, она исчадие, а нечистой силе надо противиться, и не глядите на меня так, батюшка, я ей не зла хочу, а сражаюсь со злом.

Батюшка любопытствовал, каким образом Марфуша осуществ-

ляет это благое дело, и выяснил, что весьма простым: блудницей и исчадием она подругу свою вслух не называет, однако предупредила Маринину тетку, а вслед за ней и самое Марину, что та неприлично себя ведет.

— Какую тетку? — настороженно спросил иерей. — Родную тетку, Христину эту знаменитую? Лучше бы с матерью поговорила.

— Нет, не Христину, — с некоторой досадой ответствовала Марфа. — Мне с Евфимией, не родной ее теткой, поговорить довелось. Ей я всё и сказала.

— Ну-ну, — покачал головой батюшка. — Да ты, девица, просто сплетнями занимаешься. — И, увидев, что Марфуша полна стремления сразиться и с ним, от лобовой атаки отказался и зашел с фланга. — А к исповеди ты зачем пришла? — осведомился он. — В чем ты намерена покаяться, раба Божья?

Бледно-голубые выпуклые глаза заблестели истовым одушевлением.

— Я каюсь в том, что не могу ее полюбить, как велено в Писании.

— А! — обрадовался отец Никодим. — Значит, ты раскаиваешься, что желала зла своей подруге, называла ее исчадием и распускала о ней клевету?

— Нет, — решительно отрезала Марфуша, — никакая это, батюшка, не клевета, она и есть исчадие и, если она не исправится, я и дальше буду всех о ней предупреждать.

— Так в чем же ты каешься, можешь ты ясно сказать?

— В Писании сказано, — терпеливо повторила Марфа, — что надо всех любить. А я ее не люблю, в том и каюсь.

— Девица, подумай, что ты плетешь. Ведь по твоим словам выходит, что ты исчадие дьявола полюбить хочешь.

— В Писании сказано, надо всех ближних любить, — тоном первой ученицы отвечала Марфа.

Это было уже слишком даже для жалостливого отца Никодима.

— Дьявол тебе ближний? — крикнул он и вскочил. — Чего ж ты в церкву-то пришла, если черта полюбить хочешь? К нему тогда и отправляйся. Скатертью дорога.

Марфуша растерялась. Стройная пирамида из возвышенных благочестивых чувств и столь же благочестивого желания наказать исчадь зла, Марину, внезапно рухнула. И хотя желание ее по-прежнему осталось твердым, в голосе, когда, собравшись наконец-то с силами, она заговорила, слышалось сомнение.

— Я уж не знаю, как это вышло, батюшка, я премудрости церковной не обучена. Я хотела, как по Писанию, там ведь сказано, чтоб ближнего любить. А вы меня из церкви прямо гоните к черту.

— Не чертыхайся в Божьем храме. Господи, прости и помилуй. И я с тобой, с дурехой, согрешил. Премудрости церковной не обучена, так не мудри, — успокаиваясь, бурчал батюшка. — Таких подвигов возжелала, что, того гляди, угодишь в пекло. А ты, голубушка, начни с простого. Нечистой ненависти в душе своей не разжигай. Но и полюбить ее поскорее заново не старайся, всё равно не сможешь в одночасье. Походи, подумай, что в душе твоей творится. Сказано ведь: не судите, да не судимы будете. Почему ж ты так уверена, что именно тебе дано судить? Но одно приказываю тебе строго: перестань ее славить и всю эту напраслину на нее возводить. Вот на том мы пока порешим, а грех ненависти я тебе отпускаю. Поразмысли, подумай и снова ко мне приходи. Ступай. Молись.

Но Марфуша не трогалась с места. Отец Никодим удивленно взглянул на нее.

— Батюшка, — тоскливым голосом сказала Марфа. — Я не могу вам обещать, что не стану о ней говорить. То, что я говорю, это правда, а людям надо правду знать.

— О-о! — схватился за голову отец Никодим. — Ослица упрямая, в гроб ты меня загонишь. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было и не приходи, пока хоть на йоту не смягчится твоя душа. Молись, чтобы Господь смягчил твою душу.

Марфа поклонилась в пояс и вышла. Шла неделя за неделей. Прошел июль. Уже и август подходил к концу. Марфуша больше не появлялась у своего духовного отца. Судя по рассказам прихожанок, она говорила о Марине скверно. Добрейший батюшка был удручен. Но день свадьбы Марины и Тимофея был уже совсем близок, и иерей надеялся, что рано или поздно время исполнит свой целительный урок.

Как мы знаем, упования его не оправдались. За неделю до свадьбы события посыпались, как град, и досужие прихожанки прожужжали батюшке уши о внезапной болезни Марины, о необъяснимых отъездах и приездах Якова, и уж конечно, об иголке—оборотне и удивительном воздействии ее на Марфушу.

Батюшка ждал, что Марфа прибежит к нему в тот же день, но она пришла только на следующее утро, и вот, как мы прочли уже в начале главы, батюшка расположился в креслах, а напротив, на лавке сидела Марфуша, такая же опрятная и приглаженная, как всегда, но бледное личико ее осунулось и еще больше побледнело — как кулачок, подумал отец Никодим — а в выпуклых глазах — смятение и испуг.

— Ну, — сурово молвил наконец священник. — Долгонько что-то не показывалась. Что у тебя стряслось?

Марфа, потупившись, пробормотала:

— Да вы ведь сами уже наслышаны, я думаю. Там у Фроськи в

лавке столько девушек стояло, ваших прихожанок. И Одарка, и Прыська...

— Верно, — прервал ее отец Никодим. — Прихожанок моих предостаточно туда набежало. Лучше в храм бы так ходили, как бегают на Евфросиньины фокусы глазеть. Ох уж пробрал я ее вчера, лоб разобьет на поклонах. — Батюшка неодобрительно покачал головой, потом заговорил озабоченно, с тревогой: — Дело-то сейчас не в Евфросинье, а в тебе. Слышал я, что страх там на тебя нашел великий, прихожанки доложили. Я бы сказал тебе: не шлейся к ведьмам, ни даже к ведьминым внучкам, — отец Никодим никогда не забывал уточнить, что прихожанка его Евфросинья — не ведьма, а ведьмина внучка. — Не пяль глаза на волхование и колдовские игры. Но ведь вот что непонятно: девушек там было много, а страх напал лишь на тебя.

— Батюшка, — срывающимся голосом заговорила Марфа. — Мне так страшно стало там в лавке, такой мерзкий, невозможный этот страх, что и сказать нельзя. И я все время теперь боюсь, что он вернется. Нет-нет, и чувствую, он снова подступает. — Ужас вспыхнул в ее глазах, лицо побелело. — Батюшка, спасите меня от него. Может, я, сама не ведая, чем согрешила, Научите, помогите мне.

Она смотрела на него с мольбой. Священник задумался.

— Ты говорила вчера утром с Яковом Мацуком? — спросил он наконец.

— Я с Яковом не разговаривала, — быстро и тихо произнесла Марфуша. — Я с матерью его говорила, а он, наверное, нечаянно услышал, он там где-то рядом в соседней горнице был.

— Так вот оно как получилось, — вздохнул отец Никодим. — Что ж, разница не велика. Эк тебя носит-то, — с горечью проговорил он. — Эк тебя на все стороны кидает ревность и злоба твоя. Ты ведь небось у Мацуков ни разу не бывала, а, ненавистью обуянная, прискакала и к ним.

— Я сама не заходила к ним. Меня пани Мацук через забор увидела и позвала.

— Еще бы, знала, кого звать. Для них Марина нежеланная невестка, а кто ж ее облает хуже тебя?

— Ну, скажи мне, за что ты ее невзлюбила? — продолжал он уже мягче, помолчав. — Она была тебе хорошей подругой, ничем ни разу не обидела тебя, а сейчас ведет себя достойно и по-христиански, не платит тебе злом за зло. Чем же она так тебя прогневила?

Марфуша не торопилась с ответом. Вид у нее был такой, словно она медленно просыпается после тяжелого сна.

— Чем рассердила? — повторила она. — Она и вправду никогда

мне не делала зла. Но только, батюшка, как можете вы говорить, будто она ведет себя достойно? Когда она с хлопцами разговаривает, а особенно с Тимошем, в ней все меняется — и голос, и глаза. Я скорее умерла бы, чем такое себе позволить.

— Голос? — озадаченно промолвил священник. — Что ж голос? Голос, наверное, и должен меняться. Ведь не с девицей говорит. А Тимофей — свободный человек. Он ни с кем не был связан словом. Что ж дурного в том, что он обручился с шапорцовской панночкой?

— Всё дурное, всё, ведь он ее не любит, а она завлекла и прельстила его.

— Ну, раз прельстила, значит, полюбил.

— Нет, нет, — Марфуша отчаянно затрясла головой. — Он Килину любил и любит, а это наваждение.

— Гм! — сказал отец Никодим.

Достойный пастырь, для которого, как мы уже сказали, каждый из прихожан являл собой интересную книгу, вдруг почувствовал и понял, словно в собственном сердце прочел, как страстно жаждало Марфушино сердце, чтобы нравящийся ей парубок предпочел девицу, подходящую ему по всем статьям, а не бесприданницу из малопочтенной, хоть и дворянской, семьи, собственно, ровню самой Марфуше, если не хуже. Красавица Килина, надменная, уверенная в себе, одетая богато и нарядно, была в ее глазах достойна самого лучшего жениха и, уж конечно, не чета ей, Марфуше.

И вдруг, неожиданно встреченная на опушке странная девушка с распущенными волосами, в стоптанных туфлях и, похожем на зимнее, платье, девушка, над родственниками которой смеются оба села, робкая, пугливая, боящаяся задеть словом кого угодно, и ту же Марфушу, чем могла она понравиться Тимофею? Ничем. Совершенно ничем... Одними только дьявольскими чарами и недостойными порядочной девицы ухватками.

— Сперва запутала Тимофея, — забормотала она. — Теперь Якова Мацука. И другие хлопцы тоже на нее глядят и все стараются подойти и перемолвиться словечком. Что же это, батюшка, как не чары?

Чары-то чары, подумал батюшка, да не бесовские.

Ригористически суровый к собственной особе, отец Никодим ни разу в жизни не нарушил седьмой заповеди даже в сердце.

Но отец Никодим был мужчиной и поэтому он понимал и Якова, и Тимофея, и других поклонников Марины. Эта девушка была прелестна, и не бес, а щедрая природа наделила ее нежным трепетным очарованием.

Впрочем, батюшка так же прекрасно понимал, что ничего подобного нельзя говорить Марфуше. Она одна из первых ощутила на себе

прелесть обаяния Марины, потом, увидев, как «хорошая» Марина кружит головы парубкам, возненавидела ее со всем пылом души, восприняв это обаяние, как величайшую НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. Всё нарушилось в ее привычном мире, недоступный Тимофей бросил Килину ради «цыганки». Отец Никодим понимал: вздумай он оправдывать «несправедливость», объяснять, что Марина достойна любви, он оттолкнет от себя Марфу — она не в силах этому поверить, для нее это крушение всего. Но и придумать для ее успокоения некую «утешительную ложь» он не мог, ибо к вранью испытывал глубочайшее отвращение.

Трудная стояла перед ним задача. Жаль ему было Марфу, жаль и Марину, — все деревенские новости последних дней наталкивали на мысль, что Марина в полном одиночестве стоит перед трудным выбором. Жаль Марину, но и Марфу жаль.

— Ты думаешь, в жизни всё просто, — заговорил священник. — Всё ясно и понятно любому дураку? В жизни человеческой много таинственного и не всякая тайна должна быть раскрыта, есть и такие, в каких копаться грешно.

Марфуша приоткрыла рот. Она не ожидала, что батюшка заговорит о тайнах.

— Сердечное влечение — одна из таких тайн. Ты взгляни, — с одушевлением продолжал священник, — чем можно объяснить, что пригожие, крепкие здоровьем девицы, как бы самой природой созданные, чтобы родить детей, остаются в старых девушках или уходят в монастырь? — Марфуша слушала, глаза ее слегка заблестели. — Почему одна девица сразу встретит своего суженого и проживет с ним счастливую жизнь, покорив одно лишь сердце. А к другой стремятся много сердец, и очень часто это не приносит счастья. Почему кто-то и пальцем не шевельнет, а дела его сердечные благополучны? А другой старается, сколько есть сил, и чем больше старается, тем себе же делает хуже.

Худенькое личико Марфуши сморщилось, белесые реснички намокли от слез.

— Я всё делаю, чтоб Тимофей на ней женился, так выходит, — торопливо и невнятно, словно маленькая девочка, забубнила она. — Что ни скажу, что ни сделаю, всё к тому ведет. Я ей сказала, что Тимош ее не любит, и они тут же обручились. При Якове сказала, что Марина только Тимофея любит, и Яков тут же отступился от нее. Может, если бы не отступился, Яков бы увез ее с собою, а Тимош остался...

— И женился на тебе, — мрачно договорил священник. — Как не оценить столь добросердечную и благонравную девицу.

Марфуша с испугом взглянула на батюшку и увидела улыбку в его

глазах.

— Неглупая ты, казалось бы, девушка, Марфа, а прешь наперекор судьбе с упорством, достойным токмо барана. Пойдем, — сказал батюшка и поднялся с кресел. Марфуша встала и последовала за ним. Не говоря больше ни слова, они вышли на крылечко и направились к калитке. Иерей важно шествовал впереди, за ним смиренно шла Марфуша.

Батюшка распахнул калитку и широким жестом указал на всё, что за ней находилось, начиная с идущей вдоль частокола дорожки и кончая лесом, темневшим вдали.

— Взгляни, — торжественно сказал он. — Вот он перед тобой — мир Божий. Взгляни на красоту, которую нам даровал Господь. — Утро было таким ослепительно ярким, каким оно бывает только после дождя, когда омыты и еще не просохли каждый листик, каждая травинка, а солнце словно стремится наверстать то бесполезное время, в течение которого его скрывали унылые, серые облака. — Ведь воистину мир Божий, — восхищенно воскликнул священник. — Ступай, девица, радуйся сей несказанной красе, живи так, как жила, пока тебя нечистый не попутал. — Он покашлял. — А подруге своей не завидуй. Положение ее нелегкое, так что, может быть, твоя жизнь сложится счастливей, чем ее. Боюсь я за нее, боюсь, как бы не совершила она в эти два дня непоправимого шага. Запутали ее всяческие доброты, и ты уж тут постаралась, как мало кто.

— Так, может, это я и есть исчадье зла? — с болезненной улыбкой спросила Марфуша.

— Слишком много исчадий для одного села, — буркнул батюшка. — Ты, видать, большая патриотка. — И строго добавил: — Но дьявола ты потешила вдоволь, так что впредь изволь не шутить. Молись с усердием. Займись хозяйством, младшим братцам своим и сестрицам больше внимания удели — меньше досуга останется сплетничать у околиц. — Пробежал легчайший, уже по-августовски суховатый ветерок, и трава заколебалась, играя вспышками многоцветных росинок. — Прекрасно, — одобрил отец Никодим. — Что ж, выздоравливай. Ступай, Марфуша.

* * *

Марфа шла по узкой травяной тропинке, по притоптанной, прогретой солнцем теплой и влажной траве, и ей и впрямь казалось, что ее пошатывает, как после болезни, и, словно после болезни, в голове туман. Она брела неторопливо по своей узенькой тропинке, окруженная россыпью сверкающих искр, и ей не хотелось ни говорить, ни думать. Лихорадка освободила, отпустила ее, быть может, лишь на время, и

она старалась это время протянуть, берегла себя не только от волнений, ни от самого сознания, что волнение может прийти.

Сбоку тянулась серая лента лесной дороги, выбегающая из темной толпы деревьев. Дорога и тропинка шли рядом, как река и узкий ручеек.

Внезапно из лесу вылетела одноколка и помчалась по дороге, быстро приближаясь. Девушка даже остановилась на своей тропе.

Это был Яков, нарядно одетый, в тончайшей светло-серой свитке, в белоснежной сорочке, вышитой красным шелком, стремительный, отчаянный, с радостным волнением в темных очах. «Свататься едет», — подумала Марфуша, глядя ему вслед. «Марыську едет сватать. Ух, он сегодня какой!»

Она снова зашагала по своей тропинке, и гонимые мысли начали оживать. А вдруг Марыська ему не откажет? Дивчата говорят, что она его любит. Как промчался! Словно ветер! Вот налетит сейчас на шапорцовское кубло и увезет ее с собой. А Тимош останется. Будет жить здесь и ее не видеть. Жил же он раньше, когда не знал ее, и всегда был такой веселый.

В изболевшейся, иссохшей от злой ревности душе тихо, мягко шевельнулась надежда, запрещенная надежда, упрятанная так глубоко, что Марфа даже в сокровенных мыслях в ней себе не признавалась.

Лес надвигался с каждым Марфушиным шагом, темная стена деревьев вырастала перед ней. Марфуша шла по влажной теплой травке и думала: «Вдруг увезет».

18

Многие герои нашей повести дурно спали в эту ночь, но никому она не далась так тяжело, как Марине. Да и возможно ли уснуть спокойно после того, как весь день прошел, словно в лихорадке — в мучительном смятении, в тяжелых разговорах? Самый последний из них был особенно тяжел, тем паче, что Марина его не ожидала.

Как только за Тимошем затворилась дверь, в комнату бочком протиснулась Христина и с бесцеремонным детским любопытством выпалила:

— Ну что, отказала жениху?

Это был удар — удар жестокий и неожиданный.

— Бог с вами, тетечка, — ледяным тоном сказала Марина. — Что это вам в голову пришло?

Христина чуть не села на пол.

— Э-э, — промямлила она. — Как пришло в голову? Да ведь до свадьбы всего день остался.

— Вот именно, — безмятежно проговорила Марина. — Кто, кроме сумасшедшей, за день до свадьбы отказывает жениху? Но я, тетечка,

в здравом разуме, слава Богу.

Христина захлебнулась от негодования.

— Ты в здравом разуме? Ты? Да ты самая сумасшедшая в нашем доме умалишенных. — Ее выпуклые зеленоватые глаза запылали ослепительным зеленым пламенем. — Мало, что с глузду съехала, еще и наглая девка! Тьфу на тебя! Вздумала старому человеку дерзить. Бог тебя накажет. Еще наплачешься.

— Да что вы сердитесь, тетечка? Вы же мне и говорили, что Тимофей самый лучший жених.

— Говорила, — озадаченно подтвердила Христина. И, вновь вспыхнув, повысила голос: — Говорила и сейчас скажу. Да ведь вы же все с ума тут посходили! Вам шарму какого-то подавай!

— Ну, так что ж? — удивилась Марина. — Шарм как раз у Тимофея есть. А кто еще, кроме меня, сошел... то бишь съехал с глузду, тетечка?

В этом семействе, состоящем главным образом из недоучек, был в обиходе французско-высочанский волапюк.

— С глузду съехала твоя матушка, — раздраженно сказала Христина. — Уж такого мне тут напела: в Якове шарму, мол, необычайного бездна, мол, за таким прелестником на край света можно уйти, только это старым девкам непонятно. Что ж, я девица и впрямь немолодая, так что, каюсь, этакое удалца не только что на краю света, на опушке леса повстречать бы побоялась. — Христина вдруг осеклась и с тревогой посмотрела на Марину. — О, Господи, ну что еще не так? Что особенного я опять сказала? Я ведь всегда что-нибудь этакое говорю.

Христина и впрямь вела обычные свои речи. Но каким чудом ухитрилась она вплести в одну-единственную фразу и встречу на опушке, ту далекую встречу, когда всё казалось таким веселым, славным и простым, и Марине в ее счастливой блаженной беспечности даже в голову не приходило, что именно сейчас она начала уже делать свой выбор... Ту встречу на опушке, а рядом с нею помянуть край света, манящий и пугающий край света, на который, как представлялось почему-то Марине, ее непременно должен увезти Яков, если только судьба ей пошлет небывалое, несбыточное счастье, и он все-таки придет за ней.

Так значит, маменька сказала, что с Яковым можно уйти на край света, Боже, Боже, маменька это сказала, а она боялась ей открыться.

Марина выпроводила побыстрее тетушку, сославшись на усталость, в которую легко было поверить даже столь недоверчивой особе, как Христина, видя внезапно побледневшее лицо девушки и ее измученные, страдальческие глаза.

Она долго сидела одна, словно оглушенная. Как она себя корила! В чистоте своей души она и чистоту свою считала преступной. Всю эту неделю после свидания с Яковом она не позволяла Тимофею и пальцем к себе прикоснуться. Он угрюмо, грустно покорился.

Как стыдилась она того, что раньше позволяла ему брать ее за руку, прикасаться, словно ненароком, то к плечу, то к волосам.

Как судила себя за то, что с Яковом допустила такие вольности: ласково трогала его лицо, разглаживала хмурую морщинку на лбу. И не стыдилась этих ласк тогда, да ведь, признаться честно, и сейчас не стыдится! А с Тимофеем стеснялась всегда, хотя он ведь позволял себе много меньше.

Как же она замуж за него пойдет, можно ли понять, что с ней творится? И почему же, невзирая на всё это, ей не захотелось нынче вечером его от себя отпустить? Мало того — она не согласилась отложить свадьбу.

Пришла Домаха. Панночка и служанка постелили себе, одна — на сундуке, другая — на полу. Домаха дунула на каганец и вскоре захрапела.

А Марина долго не могла уснуть. Все события бесконечного этого дня, все разговоры, все сомнения, все ее новые ошибки — всё это хлынуло на нее в темноте и закружилось водоворотом, не давая бедной девушке не только уснуть, не давая ей сосредоточиться, подумать, как в морскую бездну уйти в свою боль.

Разгулялся ветер и буйствовал за окном, страшно шумели деревья, дребезжали ставни, что-то стучало и грюкало и сбоку, и наверху, ветхий дом гремел, как погремушка.

И в тарахтенье этом, в отчаянном шуме ветра выскакивали одна вслед за другой мысли, и все такие скверные и неприятные.

Почему она после той встречи на дороге не поговорила с маменькой, а открыла тайну своего сердца сумасбродной чудачке Христине?

Почему сегодня отказалась говорить с отцом и с маменькой? Они так хотели ей помочь и, быть может, помогли бы.

И опять всё тот же — самый мучительный вопрос — что толкнуло ее возразить Тимофею, когда он сам ей предложил отсрочить свадьбу?

А ей ведь так нужна эта отсрочка, ей ничего не нужно в жизни, кроме нее. И Яков непременно к ней придет — после разговора с Фросей это стало ясно.

Кстати, вот еще один неприятный вопрос — почему из всего множества людей поняла и пожалела ее только ведьма?

Подушка под головою была нестерпимо горяча, Марина переворачивала ее, но подушка нагревалась сразу, и Марина переворачивала ее снова и снова.

Яков, Яшенька, неужели возможно, что он придет сюда и заберет ее, а ведь она давно уже решила, что пойдет за ним на край света. Возможно, дивчина, еще бы не возможно, ведь он чуть было не пришел к ней нынче утром, да кто-то помешал. Фрося думает, что Марфуша. Зачем ей это? Ведь Марфуша любит Тимофея. Марина, так недавно ничего не зная о любви, теперь легко и быстро распознает ее приметы.

Так почему ж она сказала Тимофею, что не надо откладывать свадьбу?

Было уже очень поздно, когда сквозь завывание ветра, ворчанье грома, лязг и стук пробился монотонный стойкий ропот. Дождь хлынул, наконец, и ветер стал мало-помалу затихать, а ропот ливня нарастал и постепенно заглушил все звуки, и Марина, перестав метаться на постели, лежала тихо, вслушиваясь в непреклонный шум воды.

Ей представилось, что она едет на телеге под дождем по пустынной дороге, едет на край света, и кто-то прикрыл ее от дождя каким-то толстым рядом или попоной, но безжалостные дождевые струи промочили все насквозь, и она покачивается на телеге, мокрая до нитки, и нескончаем дождь, и дороге не видно конца.

Она проснулась рано, раньше Домахи, серенькое утро едва светлело за окном. Она встала сразу же, вышла с ковшиком к кадке, умылась холодной дождевой водой. Она делала всё быстро, делала всё так, как надо. Гладко причесалась и даже косу заплела. Вышла в гостиную и вынула из сундука приданое.

Вчера она ничем не могла заниматься, но сейчас оказалось, что готово, собственно, всё. Осталось только к нескольким вещам пришить крючочки, те, за которыми ходила к Фросе. Она села у окошка и принялась за работу, тоненькая, строгая, с туго заплетенной косой.

Тучки понемногу расходились, в просветах заиграло солнце. Когда в комнату стали заглядывать заспанные Шапорцы, она сдержанно со всеми здоровалась: «С добрым утром, тетя», «С добрым утром, дядя», не поднимая от шитья головы. Никто не обращался к ней с расспросами. Таким горем безысходности веяло от нее, что молчали даже самые толстокожие и злоязычные.

Быстро и ровно мелькала иголка, скользила нитка. Последние крючочки, последние часы.

Он приехал! Свершилось то, о чем каждый мечтает, во что все мы верим и одновременно не верим. Ибо невозможно жить на свете, не

надеясь, что в один прекрасный день, словно солнце сквозь тучи, в нашу жизнь ворвется счастье — великая, взаимная любовь. Та, что сильнее всех препон и может длиться всю жизнь.

Очень многие уверяют, что не верят в счастье. Они лукавят — с собеседником или сами с собой. Не судите их — они лукавят от страха, что счастье обойдет их, но они хотят его, хотят. Есть, конечно, и такие, кто и впрямь не хочет счастья. Я не понимаю их, но мне их очень жаль, хотя сами они, истинно не желающие счастья, полагают, что им повезло.

Я, разумеется, здесь говорю об обычных людях, не о тех, кого отметил иным призванием Господь.

Счастье ворвалось в дом Шапорцов и все преобразило. Одни лица осветила радость, другие — омрачила зависть, третьи были просто оживлены — удивлением, ожиданием, любопытством.

Марина подхватила неоконченное шитье и металась по гостиной, не понимая, как же спрятать его в сундук, если крышка сундука опущена, а у нее заняты руки. Потом бросилась в свою каморку.

Ее тревожило, что маменька куда-то подевалась, а кроме маменьки и Марины никто быстро не откроет дверь, и Яков лишний раз увидит, даже в этот светлый день, с каким нелепым семейством надумал он породниться. Но не это было главным, самым главным было то, что пришел, наконец, светлый день.

Старый, затхлый дом ожил. В нем царил праздник. Все бегали, перекликались. Дядюшка Серафим, давно мечтавший, чтобы племянница одумалась и предпочла Тимофею Якова, на радостях обнаружил сметливость — дверь отворять, конечно, не пошел, это было бы уж чересчур, зато быстро отыскал Домаху, так что Якову не пришлось слишком долго стоять на крыльце.

Его провели в гостиную, маленькое зальце с шаткими стульями и массивным столом. В обе двери заглядывали домочадцы, тетушки шушукались, дядюшки молча таращили глаза.

Внезапно, шелестя тяжелым старинным атласом, в гостиную вошла Олеся в очень миленьком палевом платье, сшитом по моде тридцатых годов, и даже успевшая каким-то образом взбить букли. Сзади следовал Павло, которого она заставила надеть сюртук.

Яков встал и почтительно им поклонился. Признаемся, он несколько оторопел. Старая седая женщина в грубой крестьянской сорочке, с морщинистым, по-крестьянски загорелым лицом, каким-то волшебством преобразилась в изящную величавую даму, и сивая голова никак не выглядела сивой, а пудреной головкой маркизы. Впрочем, слова «маркиза» Яков не знал.

Кланяясь, он с неожиданной гордостью подумал: «Так вот она в

кого, моя Марина. Тоже будет красавицей в любых годах». Потом мелькнула тщеславная мысль: «Ну уж, у меня она в домотканой сорочке ходить не станет».

И он с некоторым высокомерием покосился на Павла. Но и Павел был сейчас совсем не тот Павло, над которым посмеивались местные гречкосеи.

Яков не однажды представлял себе, как он приедет в этот дом и навстречу ему выйдет Марина, и какие он ей скажет слова. Ему почему-то никогда не приходило в голову, что просить ее руки ему придется у родителей, хотя в те времена только так и бывало.

Впрочем, тревожило его лишь одно: где Марина, почему она к нему не выходит? Но поскольку ее все не было, а праздничное колесо вертелось, уж кто-кто, а Яков замедлять его движения не стал. Чувствуя, что маменька его любимой к нему, пожалуй, благосклонна, а в гостиную в любой момент могут ввалиться остальные Шапорцы, он после первых же вежливых фраз, почтительно и твердо заявил, что приехал по чрезвычайно важному для него и совершенно неотлагательному делу, касающемуся их дочери.

Марина, между тем, сама не своя от волнения и счастья, стояла, в своей каморке, прижав руки к груди, одолеваемая пустейшими сомнениями: не прицепить ли к платью беленький кружевной воротничок и такие же рукавички, не переплести ли косу, затянутую так туго, что, пожалуй, впору Марфуше Лебединец.

Ничего такого сделать она не успела. Ее позвали в гостиную. Яков вздрогнул, увидев эту непривычно гладкую головку с твердой, черной как уголь косой. Она казалась девочкой. Бедная ты моя дивчинка, подумал он, душою ощутив ту ее утреннюю беспросветную тоску и боль, и глубокая жалость пронизала его сердце.

А колесо продолжало вертеться. Олеся светским тоном говорила, что при всей необычности... она и муж имеют некоторые основания предполагать... но, конечно, всё должна решить Марина.

Само собой понятно, Шапорцы не могли всё это долгое время неподвижно стоять в дверях. Иные разбрелись по дому. Кое-кто, наоборот, оказался в гостиной.

— Я согласна, — шепнула Марина,

Стоявший рядом дед гулко крикнул: «Поцелуйтесь, дети» и затоптался на месте, не зная, не надо ли и ему поцеловать «детей».

Яков обнял Марину за плечи, словно крылом прикрыл. Она уткнулась лицом ему в грудь. Они замерли, боясь поверить счастью, которое так долго бродило рядом, обходя их столько раз стороной.

— Зарезать петуха! — где-то властно прогремел голос Данилы.

— Тебя зарезать! — негодуя оборвала его Христина. — Дураков

у нас много, а петух один. Курицу надо зажарить, понимаешь, йолоп, курицу, да не одну, а трех курей.

«Тетушка сердится», — подумала Марина. «Да нет, не очень». Всё это было так далеко. А рядом билось сердце, его сердце. Его рука обнимала ее. Кто разлучит их теперь? Нет, теперь уж никто не разлучит.

Что-то они ели, что-то пили. Тетки вошли цепочкой и на блюдах внесли стручки гороха, груши, сливы. Какая-то древняя посуда появилась на столе, умильные старинные графинчики, дворянские тарелки и селянские миски, вилки самых разных образцов.

Шапорцы были непривычно тихи. То ли очень уж давно не сидели за столом в гостинной, то ли Якова стеснялись.

Маменька с отцом тревожились, кто сходит к Голованям, известить Тимоша о внезапном повороте событий. Говорили они смущенно, тихо, стараясь, чтобы молодые не услышали их. Марина всё же услышала, но оттолкнула это от себя — потом, потом. Да и не она ведь пойдет, кто-то сходит. Яков, кажется, тоже услышал, вдруг закаменел на миг.

Шапорцы отмалчивались. Олеся с досадой сверкнула глазами. Кто сходит? Да никто, кроме нее.

В свое время появилось жаркое — обреченные Христиной куры — вызвав некоторое оживление. Но вот прошел этот долгий обед, и уже можно, наконец, уйти, побыть вдвоем, наговориться.

20

Как мы уже упоминали в нашей повести, уроженец Малороссии испытывает неизъяснимое наслаждение, получив возможность первым сообщить своему ближнему какую-нибудь весть. Вследствие этого национального пристрастия новости в украинской деревне распространяются со скоростью пожара, вспыхнувшего засушливым летом.

Яков вихрем промчался в своей одноколке к шапорцовскому домику, расположенному в стороне от села, и не встретил никого, кроме Марфуши. Марфуша, как мы знаем, углубилась в лес, где провела не один час, и только набродившись и надумавшись вволю, повернула, наконец-то, вспять, а тем временем и в Шаповаловке, и в Высоком уже не было ни одного человека, который не знал бы, что Яков Мацук появился прямо накануне свадьбы, чтобы увезти невесту, чуть ли не из-под венца.

Жених узнал эту печальную для него новость в поле. Вестником явился Лесь Журавлев, парубок легкомысленный и беспечный, но добрый, припустивший во всю прыть к голованивскому полю, чтобы никто его не обогнал.

Причиной такой поспешности была на сей раз отнюдь не националь-

ная страсть малороссов, а стремление предостеречь друга, прежде, нежели это сделает кто-нибудь более равнодушный и менее деликатный. Ибо неравнодушие, свойственное украинскому (а в равной степени и русскому) сердцу, подобно медали, имеет две стороны, и если зависть — это сторона обратная, то лицевая — сострадание.

Сообщив нерадостную новость другу, Лесь не стал долго обременять его своим присутствием, а увидев на обратном пути поспешавшую ему навстречу бондарчиху, свирепо крикнул: «Уже знает!» и столь же свирепо погрозил ей кулаком.

Бондарчиха поостереглась, и таким образом никто не потревожил грустных дум Тимоша. Он какое-то время стоял неподвижно, понутив голову и свесив вылезавший из-под брыля сверкавший золотом на солнце чуб, потом снова взялся за работу и, как показалось бы со стороны, весь целиком ушел в нее, но махать серпом он с детства привык и дело свое выполнял механически, только особенно отчетливо и мерно, а ушел бедный хлопец в себя — в тьму терзаний и сомнений, давно копившихся в его душе и сейчас прорвавшихся наружу.

Почему он вчера вечером не послушался родителей? Неужели он и вправду боялся, что, если у соперника окажется лишний денек, он тотчас явится и уведет его невесту? Не так уж часто Яков что-то у него отбирал. Боялся он его? Конечно, не боялся. Однако с детских лет осталось чувство, что чернявый, неразговорчивый, несуетливый хлопчик может внезапно броситься в самую гущу драки или игры и в этих случаях всегда побеждает.

Он и сейчас победил. Неделью назад случилось нечто непонятное, и вот Марина не позволяет Тимофею даже пальцем к себе прикоснуться. А может, это раньше началось. На тех злосчастных вечерницах, когда она смотрела на него так, как никогда на Тимофея не глядела. Смотрела с любовью.

Так долго от себя скрывавший правду Тимофеей сейчас шел напролом и забирался всё дальше и дальше. Никогда она его не любила! И он знал это. Он даже больше знал — не его, а Яшку она любит, но ему так хотелось верить! И он цеплялся мысленно за то, что она ему всегда рада, что ей с ним легко и спокойно, но всё время чувствовал эту разницу — спокойную, ровную радость их встреч и тот огонь, что вспыхивал в ней каждый раз, когда появлялся или упоминался Яков.

Из-за него, из-за Тимоша, она разволновалась лишь однажды, когда какая-то баба ей наговорила, что он ее не любит. Кто это был, он так и не узнал. Может Килина, а может, Марфуша, кто-нибудь, кто мог его приревновать.

Она встревожилась один лишь раз, но он, как видно, ждал этого раза — увидев, что Марина из-за него страдает, он с готовностью

уверился в ее любви и тут же предложил ей руку. Значит, не было в нем этой желанной уверенности раньше, вот он и уцепился за тот единственный случай.

А сейчас, когда все перед ним предстало в черном свете, он уже даже не уверен, что она боялась тогда его потерять, бояться-то, положим, боялась, но острее всего ее, наверное, задело, что она уронила свою девичью гордость, что она хуже остальных дивчат. Ей, выросшей в зачумленном шапорцовском доме, всегда мерещилось что-то такое.

И в то же время она шла ему навстречу. От Якова отклонялась, к нему тянулась. Может быть, от робости и неуверенности своей. Страшно потерять любимого, а нелюбимого — не страшно. Вот поэтому она, наверно, и была с ним всегда такой веселой и спокойной, а он принял равнодушие за любовь.

Но она радовалась каждый раз его приходу и даже накануне вечером ей не хотелось сразу его отпустить. Кто ж разберет ее, эту панночку, быть может, она рада каждому гостю и кого угодно готова задержать на несколько минут?

Кровь бросилась ему в лицо. Этого так любила, что даже пряталась, боясь своей любви. А его, выходит, совсем не любила? Как же так, ведь были же у них все эти бесчисленные свидания, встречи? И он чувствовал, что нравится ей. Пусть любви и не было, но нравился, уж в этом нет сомнений. Он голову на отсечение может дать, что был ей отнюдь не противен.

И тут с безжалостной отчетливостью вспыхнула мысль: вот так оно и называется — не противен. В Якове многое ее пугало — и сила собственной любви, и боязнь войти незваной в дом к неласковым свекрам, известным бешеным, крутым, жестоким нравом. А с ним, с Тимошем, все так просто — и нелюбящее ее сердце бьется ровно, и родителям его она мила, да к тому же и жених не противен.

И тут ее доверчивые, «щирые» глаза с упреком и недоумением как бы заглянули ему в душу. «Бог с тобой, Тимош, что ты придумал? Разве были у меня какие-то расчеты? Я делала лишь то, что мне сердце велело. Ошибалось мое сердце, но разве ж я была виновна?»

И упрек этот, который он не услышал, а почувствовал — ведь нельзя услышать то, что не было произнесено — повернул его мысли в другую сторону.

Она не виновна, а он виноват? Виноват он в том, что сам себя обманывал, что, как выражается отец, «заплющивал очи»? Ему так хотелось верить в ее любовь. Ну, а сейчас, когда уже нельзя в нее верить, когда пришло время «расплющить» очи, жалеет он о том, что всё зашло так далеко, довел дело почти до свадьбы?

Нет, ни в чем он не раскаивается и совсем не хочет повернуть вспять

время. В сердце у него одно только желание, неосуществимое, но жгучее желание — пусть Марина, несмотря ни на что, откажет Якову, и всё останется, как было. Он понимает, уж сейчас-то ясно понимает, что ничего подобного не может быть, он уже не обманывает себя, но он так сильно хочет верить, что не случайно же она тянулась к нему, не любя, и отталкивала от себя того, любимого. Нет у нее любви к нему, он знает — нет любви. Но, быть может, то, что их соединило, важнее, чем любовь?

Он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Не тот мистический, что заглянул с упреком ему в душу, а самый натуральный — кто-то стоял неподалеку и глядел на него. Он поднял голову. На меже стояла Марфуша, и так пристально уставилась на него своими выпуклыми, светлыми глазами, словно хотела пробурить его насквозь. «Здравствуй, Тимош!» — крикнула она сдавленным от волнения голосом. И лицо ее, всегда такое маловыразительное, было взволнованным, напряженным. Он молча медленно опустил голову — то ли кивнул ей, то ли просто голову опустил.

Ну чего она примчалась, неужели не понимает, что ему неприятно ее сейчас видеть? С той откровенностью, с которой он сегодня признавал всё, в чем раньше не пожелал бы признаться, он подумал, что девушку эту ему столь неприятно видеть потому, что они — два сапога пара. Оба знают, что не любимы, и упорно домогаются отклика на свою любовь без взаимности.

Правда, он Марфушку никогда не привечал, а Марина, мало сказать, привечала, она замуж за него собралась! Завтра свадьба. Почему он решил, что она непременно порвет их помолвку, чуть не из-под венца сбежит с человеком, который даже не может привести ее в свой дом?

Марина — робкая, она побоится такой жизни. Марина — гордая, она не захочет втираться в семью, где ее знать не желают.

Так, может, он напрасно с ума сходит? Поговорят они там, погорюют, она, наверное, поплачет — о Якове поплачет! — А завтра утром, как положено, пойдет с ним, с Тимофеем, под венец.

Только бы не сбил ее этот всегдашний победитель с толку, не уговорил бы, не увел с собой. И тогда всё будет хорошо. У него любви на двоих хватит, и он опять ее к себе приручит, и всё будет по-прежнему, всё, кроме одного. Теперь он точно знает — она его не любит.

Он знает, что она его не любит, и так уверен, что им будет хорошо. Ой, Тимош, Тимош, а, может, хорошо будет только тебе, а ей достанутся одни слезы?

Нет. Если Марина не забудет Якова, если она его и вправду любит, а обвенчается с Тимошем, плохо будет им обоим. Долго будет плохо. Может быть, всю жизнь.

Только зря он растравляет себя такими мыслями. Если бы он мог от нее отказаться, то давно бы уже это сделал.

А в нем дрожит каждая жилка, и он горит, как в огне, и хотя он тут размышляет и о том, и об этом, нет для него ни этого, ни того, нет ни разума, ни гордости, ни жалости, есть одно, только одно: Марина! Такая милая, такая близкая, своя. Неужели она станет вдруг чужая?

Боже милостливый, чем все это кончится? Кого она выберет? Что она выберет?

Он распрямил натруженную спину, огляделся. Подумать только: пока он тут с ума сходил, он сжал всю полосу — одна стерня торчит. И ни души кругом. Марфушки след простыл, словно ее и тут и не было. Пусто.

Пустое поле. И небо пустое, синее, без единого облачка. И в голове у него пусто, только гул. Устал он от своих безумных мыслей.

Он стоял, смотрел на синее, безоблачное небо, на блестящую под солнцем золотую стерню, и внезапно, будто темненькая тучка по краю чистого небосклона, проплыла, скользнула быстрая мысль: «Будь на моем месте Яков, ни за что не стал бы он ее помогать. Скорей на черте бы женился, чем на девушке, которая любит другого».

21

— Я и сама не понимаю, что тогда со мною сделалось. На землю бросилась и в землю хотела уйти. Я так боялась: вдруг ты не придешь, и ничего не будет больше, ничего...

— Это любовь, моя голубка с нами сделалась. И я боялся и от страха умирал.

— Глупые мы, да?

— Совсем дурные.

Они молчат и смотрят друг на друга. Молчат и снова начинают говорить.

— Умирал, а ко мне не пришел. Уехал умирать в свои Овражки.

— Мне подумать надо было, понять. Я и забрался в свое логово, как раненая зверюга.

— Зверюга ты моя, зверюга, страшные твои глаза. Знаешь, тетя Христя как тебя зовет — разбойник.

— Не любит меня тетушка?

— Да нет. Наши по-настоящему не любить не умеют.

Яков глянул с любопытством, изломав и без того крутую бровь.

— Как это, по-настоящему?

— Не знаю... Ну, скажем, так, что человеку этому, кого невзлюбят, страшно жить на свете.

Он прищурился.

— И кто ж, по-твоему, умеет так невзлюбить? Знаешь ты таких людей?

— Не обижайся, мой хороший...

— Говори.

— Я думаю, наверно, твоя мать умеет.

— Она что-то тебе сказала? — быстро спрашивает он.

— Только смотрела. Мы с ней никогда не говорили.

— Вряд ли вам придется много говорить, — хмуро усмехнулся Яков.

— Ты думаешь, они не простят нас?

— Может и простят. Тогда я тоже их прощу.

Черные, блестящие, как звездочки, глаза смотрят на него с испугом и любуясь.

— Никого не бойся, дивчинка моя, — говорит он, словно малому ребенку. — Я заслоню тебя от всяких страхов.

— Почему ты меня дивчинкой зовешь?

— Из-за твоей косички.

— Да ведь ты ж расплел ее давно.

Он гладит ее пышные густые волосы.

— Ты моя маленькая дивчинка. Ну что мне сделать для тебя, скажи?

— Ничего. Пусть всегда будет так. Только не исчезай.

— Куда ж мы друг от друга денемся? Я теперь всегда буду с тобой.

— В маленьком белом домике? А ты знаешь, что я вдруг подумала.

Вот ты уедешь по делам. А я совсем одна останусь в этом белом флигелечке. Мне, наверно, страшно будет по ночам. Померещится, будто в окно кто-то заглядывает.

— Разбойники? — спросил он весело. И неожиданно добавил: — А может, матушка моя?

Она смущенно опустила голову.

— Ну что мне делать, милый? Вот почудилось вдруг что-то. У нас дома так много людей. И Домаха спит в моей каморке.

— Будет тебе и в Овражках какая-нибудь Домаха. И не так уж долго нам во флигелечке жить. Может, батяно меня все-таки отделит.

— А если нет?

— Мы все равно когда-нибудь построим себе дом. Большой красивый дом. К нам будут приезжать твои родители. А еще...

— Чего ты замолчал? Я ведь знаю, что еще.

— Знаешь, пташка моя, знаешь. Вон как покраснела.

— А ты тоже покраснел.

— Да ну?

Он взглянул на нее исподлобья, так смущенно, с такой любовью.

— Ну, конечно, у нас будут дети, — тихо промолвил он. — Тебе же хочется жить в доме, где много народу.

— Почему ты про меня всегда все знаешь?

— Я очень люблю тебя, поэтому и знаю все.

— Знаешь ты, как я тебя люблю?

— Знаю, серденько. Мы оба сильно любим.

— Яшенька...

— Что, милая?

— Край света... он какой?

Яков улыбается.

— Я вижу, ты уж на край света собралась. Не бойся, дивчинка, не дальше Овражков, — всё еще улыбаясь, он задумывается на мгновение. — Знаешь, он наверное, какой, — высокие горы, крутые, а на склонах белые дома, дворцы. И солнце яркое-яркое высоко в небе.

— А за горами что?

— Да ничего. Что там может быть — край света. Занятная ты дивчина. Зачем он тебе сдался?

— Я потом расскажу. Нет, сейчас. Маменька сказала, за тобой можно уйти на край света.

Черные «разбойничьи» глаза внезапно просияли.

— Что ж, спасибо ей. Нашлась, значит, душа, что и за меня замолвила словечко.

— Маменька сперва за Тимоша была, — простодушно уточняет Марина. — А слова эти про край света я узнала только вчера. — И, спохватившись, торопливо добавляет: — За тебя тут были среди наших, спорили еще как.

— И кто ж это они, мои заступники?

— Дядя Серафим всегда был за тебя. Дед говорил, что оба вы достойные. Тетки просто гадости мне говорили, всякие шпильки. Да, — внезапно вспомнила она, — за тебя был и дядя Данила.

— Еще и этот! Небось чушь какую-нибудь нес. Прости, серденько, я не хотел тебя обидеть... — Он взъерошил ее волосы, потом стал приглаживать их, легонько прикасаясь пальцами. — Бедная моя головка, совсем ее задурили.

Нежным бережным движением он повернул к себе ее головку и с тревожной жалостью заглянул ей в глаза.

— Успокойся, моя милая. Что ж ты вся дрожишь, как птенчик. Когда сумеешь, тогда и расскажешь, — он прижал ее к себе и снова стал укачивать, как малое дитя.

— Яшенька, — заговорила вдруг она, и голос у нее был счастливый, спокойный. — Ты петь мне будешь там, в Овражках?

— Я и сейчас тебе спою, — сказал он и подумал: «Кто ж ты, как не дивчинка? Чуть побаюкал и затихла».

Боже, Боже, что за колыбельную он выбрал! Ту самую песню про

бандуриста, что он пел на вечерниках. Ту самую, что, как могучий ураган, грозила все смести, разметать по сторонам людские судьбы. Только пел он ее совсем не так, как в тот раз. Такую тишь сердечную навевала она. Столько было в ней светлой, прелестной печали.

Марина осторожно высвободилась из его рук, потянулась и, еле коснувшись губами, поцеловала в щеку. И тут же снова спряталась у него на груди, чувствуя, как бешено стучит его сердце. Чувствуя, что руки его обняли ее чуть крепче. Он наклонился и ее поцеловал. Лицо ее пылало.

Он быстро распрямился, чувствуя, что сердце его вот-вот готово выпрыгнуть из груди. Он покачивал ее, мурлыча что-то про себя, дожидаясь, когда утихнет неистовый бой сердца. Потом умолк.

Тихий ангел слетел. Ушли последние отголоски бури. Они замерли, ощущая тепло друг друга, слыша биение сердец. Боже милостивый, неужели и к ним, наконец, пришла эта прекрасная уверенность, пэвность?

Вдруг он резко поднял голову.

— Что случилось? Куда ты ушла?

Она молчала. Он повернул ее к себе, заглянул ей в лицо и помертвел.

— Ну, всё. А я уже поверил, как дурак. Ну, скажи мне, скажи, что случилось?

В черных звездочках—глазах, еще только что счастливых и веселых, тоска, недоумение, грусть.

— Я не знаю, милый мой, я ничего не понимаю. Что-то скверное нашло на меня.

— Гони его от себя, гони, Ты ведь любишь меня?

— Да. Прости меня, мой любимый, я, наверное, буду несчастной всю жизнь.

— Со мной будешь несчастной?

— Без тебя. С тобой я была бы счастливой.

— Так кто ж тебе мешает... — он вдруг с ужасом посмотрел на нее. — Неужели ты и вправду двоих любишь?

У нее дрожали губы и холодные горькие слезы покатались по бледным щекам.

— Я тоже как-то раз это подумала и испугалась. Но нет, мой любимый, не в том наша беда. Люблю я одного тебя и все жизнь любить буду. Только...

— Что?

— Мой милый, не сердись. Как же это объяснить, когда сама не понимаешь. Вот ведь я и правда знаю, что буду несчастной, но я смогу так жить. Ты понимаешь, всё-таки смогу.

— А чего же ты не сможешь? — спросил он горько.

— Пойти в семью, где меня будут ненавидеть, — тихо, но решительно ответила она. Он хотел что-то сказать, но она его остановила. — И где будут ненавидеть моих детей. Я хочу, чтоб моим детям были рады.

— Нашим детям! — крикнул он. — Не твоим, а нашим, понимаешь? Мы с тобой им будем рады, нашим детям. Кто тебе важнее — муж или свекровь?

— Я боюсь, у нас с тобой не будет детей, Яша. Я не смогу войти в тот дом, где меня не хотят.

— Если они тебя не захотят, я тоже не войду в их дом. Не мы первые. Поживем в Овражках. А не захотят они и дальше тебя признавать, совсем уедем. Хоть и вправду на край света.

— Не мы первые, не мы последние, — она робко на него взглянула. — Но ведь, любимый мой, не все же, кто на край света собирался, и в самом деле туда уходят.

Он смотрел на нее, стараясь, чтобы в его глазах не проглянула бешеная мацуковская ярость. Смотрел и ждал, что она скажет еще. Она говорила медленно, тихо, видно, с трудом подбирая слова.

— Для тебя, вон видишь, он какой — край света — солнце, белые дворцы. А я сегодня ночью стала себе представлять, как на край света едут. Тяжкая это дорога и никакого солнца мне не виделось там.

— А где солнце? — быстро спросил он. — Где тебе хорошо будет?

Ей не хотелось отвечать. Она боялась сделать ему больно. Но и говорить неправду эта дивчина не могла. Тем более любимому, в их, может быть, последнем разговоре.

— Мне будет хорошо там, где семья. Чтобы, когда ты будешь уезжать, я не сидела в домике одна, а чтоб кругом были родные. Не сумасшедшие, как наши Шапорцы, а спокойные, добрые люди. И чтобы, когда во дворе будет играть наш сын, он был для своей бабушки не пашенком, а ангелочком. И чтоб ко мне всегда могли прийти не только маменька и батько, но и тетя Христя. Вот такой двор для меня весь в солнце.

— Это голованивский двор, — резко прервал ее Яков. — Там не мои будут дети играть, а Тимофеевы... ангелочки!

Ярость все-таки прорвалась, наконец. Марина понимала, что заслужила ее, и молчала, покорно склонив голову.

Яков встал и наклонился к ней, пытаясь заглянуть в лицо.

— Марыся, — сказал он с такой мольбою, что отозвалось бы и каменное сердце. — Марыся, голубка. Что ж ты делаешь, подумай. Ты мечешься то туда, то сюда, а у нас не только дней, у нас уже и минут не осталось. Ты пойми же, ласточка моя, если я сейчас уйду, у нас с тобою больше ничего не будет. Вот мы только что сидели, я

тебя обнимал, у тебя в глазах слезы блестели от счастья — и этого не будет больше никогда. Мы, наверное, и разговаривать с тобой не станем. Разве можем мы это перенести? Вспомни, как ты на землю бросалась от одной лишь мысли, что у нас с тобой не будет ничего больше.

Она подняла голову, и в горестных ее глазах замерцала искорка. Боже, неужели он убедит ее? Господи, сделай так, чтобы она одумалась!

— Я ведь не нищенствовать тебя зову, — продолжал он мягко, боясь вспугнуть эту живую искру. — Ты же видишь, я тебя оберегаю от всего. Ведь не прошу же я тебя обвенчаться тайно и в самом деле бежать на край света. Или свалиться, как снег на голову, моим родителям. Я отыскал работу. Я нашел для нас дом, уж во всяком случае не хуже этого. Ну, проживем мы среди чужих людей, но ведь мы будем вместе, ты пойми только — вместе.

Она кивнула. Бедный парубок не смел — в который раз! — поддаться такой уж неверной надежде.

— Яшенька, — сказала она, — а помнишь, еще тогда на дороге, ты сказал мне, что я правильно выбрала. Помнишь? Значит, ты уже тогда все знал.

— Знал, — сказал он. — Да это все знают. Но ведь нам такая выпала любовь.

Она опять кивнула.

— Так ты еще подумаешь? — спросил он.

— Конечно. Я же не сказала, что не пойду за тебя. Просто на меня вдруг нашло все это, и я не знаю, что мне делать. Я растерялась.

— А сейчас оно не сошло? — спросил Яков. — После всего, что я говорил.

— Сошло ли? Не пойму. Дай мне с мыслями собраться.

— Ты не с мыслями, ты в сердце разберись.

— С сердцем что ж? С ним не в чем разбираться. В сердце у меня только ты.

— А солнечный двор?

Она грустно улыбнулась.

— И опять ты прав. Ты и в самом деле меня лучше понимаешь, чем я разумею себя. Помнишь, ты и это мне сказал на дороге? Какие же счастливые мы были тогда!

— А сегодня?

— И сегодня тоже.

— А сейчас уж нет?

— Подожди, мой хороший. Дай я тихо посижу.

Она сидела совсем недолго, и вдруг он поймал на себе ее взгляд. Взгляд был полон нежной любви и печали, и он понял: она хочет

наглядеться на него в последний раз, как он когда-то на нее глядел в степной балке. Но тогда всё только начиналось. А сейчас... Что ж, сейчас он тоже может на нее смотреть, а может и через год, повстречав в деревне. Но то, что было между ними еще несколько минут назад, оборвалось. И ничего уже у них не будет, только было.

В дверь постучали и вошла Олеся.

— Что ж вы, милые мои, так засиделись? Мне к Голованям надо идти. — И, всмотревшись внимательнее, с тревогой спросила: — Вы не поссорились часом?

— Спасибо вам за ласку, пани Александра, — поклонившись, сказал Яков. — И не тревожьтесь, вам не надо никуда ходить. Жених у вашей дочери остался прежний.

Встретив вопросительный взгляд матери, Марина сказала странную фразу, которую даже мать не вполне поняла.

— Вот ведь выпала такая, на всю жизнь, да препоны знает.

Яков понял ее, как всегда. А по панскому слову «препоны» догадался, что Марина вспомнила какой-то разговор, случившийся когда-то у них в доме.

22

Мелкий, нудный дождь стучал по крыше белого домика, в котором побоялась жить Марина. Шел к концу октябрь — роскошный розовый, багряный, золотой наряд слетал с деревьев, становясь мало-помалу жидковатым. Листья падали, кружились, опускались на мокрую землю, покрывая ее пышным огненным ковром.

Яков знал, что когда листья облетят все до единого, и промерзшие черные ветки укутает белый покров, когда пушистый легкий снег осыплет и деревья, и землю, и хаты, ему будет так же тяжело, как сейчас.

И весной ему не станет легче. И следующим летом, когда все вокруг будет напоминать ему о лете только что минувшем, рана сердечная не затянется, боль не уйдет. Притупится ли она когда-нибудь? Наверное, с годами.

Но сейчас она так же мучительна, так же нестерпимо остра, как два месяца назад, когда высокий старик с добрыми несчастными глазами провожал его, один-единственный, из непривычно притихшего шапорцовского гнезда, вывел лошадь из их разоренной конюшни, смущенно что-то бормоча, и неловко пытался помочь Якову запрячь ее, чтобы хоть как-то выразить свое сочувствие, свою печаль. Дядя Серафим, единственный его сторонник в этом безумном доме. Если бы Марина вышла за него замуж, дядюшка Серафим к ним бы сюда

приезжал.

Боль привычно рванула по сердцу, как торчащий из раны нож. Когда уж он отучится всё поворачивать его да поворачивать?

К нему не ездят гости из родимых мест. Почти.

Друзья у Якова хорошие и знают его хорошо. Знают добрые его друзья: не надо сюда приезжать, не надо ему сочувствовать, не надо ничего рассказывать. Яков он такой ведь, он всё переживет один. И из трех его замужних сестер ни одна его не навестила.

Главное он знал: венчанье состоялось. Не в пустыне ведь он жил, везде бывал — и в уездном городе и даже как-то раз в Чернигове.

Он глянул на окно. Совсем стемнело за окном. Самое время разложить счетные книги и скоротать над ними вечерок, но он работает, как зверь, все дела переделаны, и счета у него в полном ажуре.

Гостей в Овражках почти не бывало. Но нельзя сказать, что не было совсем.

Недели две назад в яркий солнечный день, блиставший синевой холодного неба и всей роскошью не опавшей еще листвы, Якову сказали, что его дожидается у флигеля приехавшая из Высокого панна Шапорец. Ему показалось, что он сошел с ума. Он бросился, не говоря ни слова, к дому, хотя в тот же миг, что бросился, уже понял, что за «панна» его ждет.

Так и есть. В крестьянской телеге, но в городском наряде невесты каких десятилетий, восседала Христина. Яков вежливо, но сухо вато поздоровался и без большой охоты пригласил причудливую гостью в дом, предоставив лошадь и возницу хлопцу, стоявшему тут же с разинутым ртом.

— Пусть накормят хорошо и негодая этого и его худобу, — своим низким, глухим голосом распорядилась Христина и, чувствуя себя довольно неуверенно, с нарочитой важностью вошла в дом.

Она с любопытством оглядела горницу и даже прошла от стены до стены. Затем остановилась перед Яковым.

— Мне рассиживаться тут некогда, — резко бросила она. — Темнеет рано, дай Бог, чтобы этот шахрай меня хотя бы к ночи довез до дому. — Она выжидательно покосилась на Якова. Он молчал. — Но я сочла своим долгом, — неожиданно высоким голосом произнесла она и вдруг, взглянув ему в лицо, осеклась. — В общем, сочла долгом вас... тебя повидать.

Яков ждал.

— Ну, что ты все молчишь? — сердито проворчала гостья. — Я всё же сяду. Одним словом, я хочу сказать, что приношу тебе... вам свои извинения.

— Но вы ничем не оскорбили меня, панна Шапорец.

— Помолчи. Не городи вздор. Племянница хотела посоветоваться со мной, еще до твоего приезда — не в самый последний день. Ты ведь, словно принц какой, пожаловал прямо к амвону. А разговор тот был раньше, и я чистосердечно высказала ей свое мнение. Молчи! — крикнула она, видя, что Яков собирается заговорить. — Я была чистосердечна, да! И совесть у меня чиста. Но она несчастна, вот ведь что.

— Панна Марина говорила это вам?

— Ничего она не говорит. Но я вижу, чувствую, что-то не так, и на сердце у меня нехорошо. Тем более, что виновата во всем я. Вернее, мы с тобой.

— Вы же мудрые тут все, — продолжала она, распаляясь. — Всё понимаете: любовь — не любовь, те родители — не те родители. Одна я дура — в любви ни бельмеса не смыслю, зато верно знаю: дело тут не в любви, а в двух днях. Ну, чего ты на меня уставился? Я ясно говорю. Не такая барышня наша Марина, чтобы прямо накануне свадьбы от жениха сбежать и выставить на посмеяние и его, и всю семью, добросердечных, извини меня, людей. Она ведь чистый бриллиант, не красотой, — душою. Сама всё готова вытерпеть, лишь бы не обидеть никого. Крутилась всё возле меня, когда еще три дня оставалось, что-то услышать от меня хотела, но что я ей могла сказать? Не могла я ей сказать того, что ей хотелось, а сказала то, что думала. Вот так. Но мне покою не дает, что, если б я тогда что-то другое ей сказала, чего сказать, ей Богу, не могла, она бы не была сейчас несчастной. Да и ты, дружок, хорош, в последний день прискакал.

Яков смотрел на нее задумчиво. В сумбурных излияниях старой девицы чувствовалась какая-то правда. Может быть, не главная, но одна из тех правд, из которых складывается жизнь — роковые решения, счастье и горе. А что если и в самом деле так уж важны оказались эти три дня?

Никогда не допускавший даже мысли, что кто-то совсем посторонний станет копаться в его сердечных делах, он неожиданно спросил:

— А почему вам кажется, что панна Марина несчастна?

Он по-прежнему называл ее «панна». Язык не поворачивался признать, что она замужняя женщина.

— Не могу я этого объяснить, — доверительно произнесла Христина. — Не разбираюсь я в таких делах. Я бы, например, тебя ни в коем случае не полюбила. Но не зря, как видно, говорят: любовь зла. Я — старая дева, в любви я ничего не смыслю. А вот в несчастьи смыслю. Ты уж поверь мне — несчастна она. Послушай, — вдруг воскликнула она, — а, может, ты ее похитишь?

Яков ждал от Христины самых удивительных речей, но такого, честно говоря, не ожидал. Он взглянул на старую чудачку с любопытством, даже с каким-то уважением на нее посмотрел.

— Бог знает, что вы говорите, панна Шапорец. Вы же сами только что сказали, что Марина даже еще до свадьбы...

— Знаю! — крикнула она. — Я говорю вздор. Исправить ничего нельзя. Но я терпеть этого не могу, когда нельзя ничего исправить! Я дала ей правильный совет, — помолчав, продолжала она, вдумчиво, будто сама с собою размышляла. — Правильный совет. И она правильно поступила. Всё так. И всё не так! — Яростно воскликнула она. — Изменить же ничего нельзя, и ты в этом совершенно прав. Так что прощай.

И тут она стремительно вскочила и столь же стремительно бросилась вон.

Яков не вышел ее провожать. Был предел и его силам.

Но подтверждение тому, что любовь зла, а Марина несчастна, он неожиданно получил неделю спустя ни от кого иного, как от собственной матери. Кстати, Шерембеиха, не будучи старой девицей, одним словом объяснила то, что так долго и безуспешно пыталась постичь Христина.

Она вошла, когда Яков только было собрался вечерять, всплыла в горницу, словно корабль, одновременно и тяжеловесный, и легкий, с той знакомой сыну яростью, дымящейся в глазах, которая предупреждала: вот сейчас я, наконец-то, выплесну без всяких церемоний всё, что накипело на душе, и никакая сила меня не остановит. Взгляды матери и сына встретились, мать опустила глаза. Что уж Шерембеиха там прочитала в его темных, азиатских, унаследованных у нее глазах? Да скорей всего именно то, что он в это мгновение чувствовал — ту же бешеную мацуковскую ярость, которую ничем не удержать. Его горе было сильнее, и гнев — страшнее. Что он сделал бы, если б она произнесла хоть слово? Этого он сам не знал.

Мать вынула из корзинки скорее изысканное, нежели обильное угощение — знаменитое нежнорозовое сало, коим славился мацуковский хутор, высокие глиняные банки с земляничным вареньем, которое никто не умел сварить, как она. И соленые огурчики у нее получались на зависть и на удивление другим хозяйкам. Огурчиков она сыночку тоже привезла.

За вечерей хладнокровно и миролюбиво обсуждали матримониальные планы. Яков просил в ближайшие месяцы сватов к Людкевичам не засылать. Переговорить решили пока потихоньку, так сказать, прощупать почву. Впрочем, без всякого прощупывания было известно: Килина за Якова охотно пойдет.

— А то, может, Настю Плахтий посватать, — с не идущей к ней неуверенностью предложила мать. — Она хоть тоже с гонором, а все же не такая, как Килина. И умная, и сердце у нее добрей. Ты же знаешь ее с детства — твоего приятеля сестричка.

— Вот потому и не надо ее сватать, — как ножом отрезал Яков. — Зачем хорошей дивчине такую подлость учинять? Ее, может, еще любовь ожидает.

«Это ты хороший у меня, сынок», — подумала с печалью Шерембеиха, и хотя глаза ее оставались все такими же недобрыми, любовь и жалость сдавили ей грудь. «На такой подлюке готов жениться. Лишь бы никому жизнь не испортить, только одному себе». Собственно, Килина не была подлюкой в полном смысле слова. Грубая примитивность ее души проявлялась в злобных выходках, скорей, чем в каверзах. Будущему мужу эта черта не сулила ни особых сложностей, ни особых радостей. Но Яков радостей от брака и не ждал, родителей же, что греха таить, прельщало приданое.

Что греха таить, и Яков был не прочь управлять по-настоящему большим хозяйством. Он всё бы отдал до последней полушки, чтобы вернуть Марину. Но Марину не вернешь, а по натуре своей был он землевладелец с размахом.

Отдадим, однако, справедливость Шерембеихе — ее сейчас не так заботило приданое (за Настей ведь тоже немало дадут), как одолевала обида за сына. «Да, сынок-то у меня хороший, а какая жизнь его ждет? Дзыга, лохматая, бесприданная, заморочила, замучила, с родителями рассорила, а потом надсмеялась — выставила за дверь. Всю жизнь она ему испортила, всю жизнь — вот он даже на хорошей девушке жениться теперь не может. Потому не может, что дзыгу эту окаянную полюбил, а родители, выходит, во всем виноваты».

То, чего не сумело сделать уязвленное самолюбие, сделали любовь и жалость. Охваченная добрыми чувствами к сыну, Шерембеиха выложила ему всё — все обиды свои, все мысли — срывающимся от гнева голосом, с грозowymi раскатами, коих страшились не только девки-батрачки, но и сам супруг.

Яков был сейчас после спокойного, мирного разговора уже совсем не тот, каким он встретил мать, когда он сжался, ожидая боя, и тяжелая слепая ярость сделала его способным на любой безумный шаг.

Сейчас он не был ни слеп, ни безумен, но ярость глухо ворочалась в нем. Он посмотрел на искаженное ненавистью лицо матери — да уж, матушка воистину из тех, кто умеет так возненавидеть, что человеку страшно жить на свете; потом случайно бросил взгляд на темное незанавешенное окно и вдруг представил себе, да так отчетливо, так ясно, как за окном белеет, прижимаясь к стеклу, широкое, горящее

злой лицо, а в горнице одна Марина — вот, вот оно, то самое, чего она боялась.

Темная молния мелькнула в его глазах.

— Кто ж виновен, как не вы, — сказал он глухо. — Только вы с отцом и виноваты, безжалостные ваши сердца.

Мать сверкнула глазами, но промолчала. Они посидели еще, почти не разговаривая, за столом. И только позже, удаляясь на ночлег, мать обернулась уже на пороге и сказала:

— Думаешь, легко это — с безжалостным сердцем жить. Врагу не пожелаю.

Уезжала она рано утром. Яков вышел проводить ее. Они простились сдержанно, как всегда, — не больше и не меньше, чем обычно. И уже готовясь взобраться в кибитку, мать, опустив глаза, быстро проговорила:

— Там счастья нет. Погасла она.

Яков смотрел вслед удаляющейся кибитке и понимал: что-то случилось с ним. Все эти долгие недели он, стиснув зубы, сдерживал себя — не давал прорваться мыслям, воспоминаниям, чувствам. Они, конечно, прорывались, но он им себя не отдавал.

И вот сейчас, услышав это «погасла», чего Христина так и не смогла определить, он с каким-то странным, жадным облегчением ощутил, как хлынула, затопила его ненависть к Тимофею.

«Высидел», — с яростью подумал он. «Дождался. Заграбастал звездочку в кулак, а она, бедняжка моя, погасла».

А вслед за ненавистью прихлынули и нежность и жалость, и воспоминания, которых он уже не гнал, и чувство неизбывного горя.

Так он и прожил все последующие дни, уже не борясь с собой, во власти мук, терзавших его сердце, и ненависти, приносившей не облегчение, нет, но какое-то недоброе насыщенье.

Днем он глушил себя работой, по вечерам, как избавления, ждал сна.

В этот дождливый вечер он ходил и мрачно размышлял, что мало хорошего его ожидает. И что родители его, которые сперва сгубили его счастье, а теперь жалеют, что будущая невестка не добра, еще далеко не все знают.

В казачестве, в той существующей лишь на Руси и на Украине среде, где мужчины непременно мужественны, а женщины таковы, какими только и могут быть спутницы мужественных мужчин — их матери, жены, сестры — сложилась строго соблюдаемая этика.

И какой-нибудь Терень или Остап, не умеющий написать ни одной буквы, разъясняет сыну-подростку, что в разговоре, сказав слово, следует помолчать — дать и другому сказать свое слово; а среди девушек всех краше та, которая все как бы «видвертается и

видталкуе», или, по-русски говоря, отворачивается и отталкивает.

Килина не «видверталась». Очень чувственная, что случается и с низменными и с возвышенными натурами, она то ли из высокомерия, то ли по глупости пренебрегала правилами своей среды.

Строгая этика казачьего села не позволяла избранникам Килины рассказывать даже приятелям подробности их свиданий. Наблюдательные дивчата допытывались у кавалеров: отчего это, как только речь заходит о Килине, все вы усмехаетесь чему-то? Хлопцы с деланным удивлением пожимали плечами. Кстати, Тимош нарушил этикет, невзначай проговорившись Марине, что Килину нельзя назвать недотрогой.

«Гулять не дам», — хмуро подумал Яков. «Будет с нее, нагулялась. Еще не хватало чужих байстрюков в нашем доме плодить».

Он подумал так скорее от досады на Килину, чем волнуемый действительной тревогой. Все они знали друг друга с детства, и он помнил с малых лет хорошенькую, словно куколка, синеглазую девочку, как ребенок капризную и по-женски рассудочную, глупенькую, но с безошибочным чутьем зверька всегда делающую только то, что ей на пользу. Да и не была она влюбчивой, просто много себе позволяла. До поры.

— Ну и сокровище я себе выбрал, — с горечью подумал он. — Зато батько с матерью довольны. А Марина им была нехороша.

Погасла звездочка. А если он и впрямь туда приедет завтра утром, в темноте еще, верхом, подстережет и в самом деле похитит, как советовала смешная старуха?

Он будет ждать ее в кустах возле колодца и внезапно выйдет ей навстречу, она отбросит в сторону ведро — вряд ли панночка уже научилась носить коромысло — а он посадит ее перед собою на коня, закутав теплой свиткой.

Он не подбивал ее к побегу перед свадьбой, он открыто пришел в дом и попросил ее руки и получил всеобщее и полное согласие, а через час—другой она взяла назад свое слово.

Судьба вела ее упорно в одну сторону с того самого первого дня, когда Марина — он это тотчас заметил — всё глядела то на Тимоша, то на него, то на него, то опять на Тимоша.

Судьба вела ее окольными и сложными путями, втягивая в свои деяния многих людей, и неблагоприятное занятие — пытаться понять, что же оказалось для Марины главным — три дня, как считала Христина, или пагубный трепет ее перед всем, начиная от лютых свекров и кончая краем света. А, может, пагубны его метания, может быть, это он склонился перед судьбой, и, никогда ни перед кем не пасовавший, уступил победу один—единственный раз — не стал тащить

любимую за собой против воли, не помешал ей войти в теплый дом, куда ее так неодолимо тянуло, где все рады ей и все любят ее. Она вошла туда и погасла.

Так, может, хоть теперь судьба их выпустила из своей руки, и то, что было невозможным накануне свадьбы, сделалось осуществимым сейчас?

Что-то странное творится с ним. Он горит, как в огне, и в то же время его бьет озноб, и не понять ему сейчас в тревожной, жаркой и студеной лихорадке, что возможно для них с Мариной и чего — нельзя. Он прилег на лавку, чуть не стуча от озноба зубами, и накрылся с головой козухом. И сразу же уснул.

* * *

Как бывает иногда во сне, он знал, что спит. Мало того, по временам из яви приходили мысли.

Во сне он видел длинную дорогу и одинокую телегу, медленно продвигавшуюся по ней. Небо было сплошь затянуто тучами, нависавшими, казалось, над самой землей. Всё вокруг было пустынно. Куда не кинешь взгляд — одна унылая равнина; лишь изредка сиротливо торчит зябкое, промокшее, голое дерево. Судя по всему, уже пришел ноябрь.

Единственными живыми существами в этой унылой пустоте были ехавшие на телеге люди.

Это была странная компания — женщина и четверо детей, каждый с головой укутанный каким-то толстым плотным покрывалом, насквозь промокшим под непрерывным дождем.

Как часто бывает во сне, Яков знал очень многое. Например, он знал, что это мать и ее дети, а возница, понуро покачивавшийся впереди, не имеет отношения к этой семье, его просто наняли. Женщина же едет к мужу, это Яков тоже знал.

Ближе всех к вознице сидел, вглядываясь в бесконечную, безлюдную даль, высокий мальчик, верней, уже подросток. Мать время от времени поворачивалась к нему. Самый взрослый из детей, он разделял ее тревогу. «Васыль!» — окликала она его, «Васыль!», подбадривая и его и себя.

Две девочки, одна чуть побольше, другая — поменьше, сидели, прижавшись друг к дружке. Самый маленький, совсем малыш, лежал, положив головку матери на колени. У него, наверное, был жар. Мать то и дело наклонялась к нему, старалась прикрыть от дождя покрывалом. Но покрывало это промокло насквозь, так же, как и все на их телеге, так же, как и все вокруг.

Она испуганно всматривалась в разгоревшееся личико младшего

сына, потом оглядывалась на старшего: «Васыль! Васыль!»

Всю эту сцену, которую мы описали так подробно, Яков схватил взором в один миг и понял в один миг. Нет, не всё он, увы, понял, но многое.

Он понял сразу же, что именно так Марина представляла себе дорогу на край света. Да, и впрямь тут не было и капли солнца, но тут не было и любимого рядом; Яков давно, тогда еще, хотел спросить ее об этом, но из гордости не спросил.

Понял он так же, смутным чутьем человека, которого посетил такого рода сон, что вся эта семья с ним как-то связана.

Но как она с ним связана, он не мог понять.

Он чувствовал, что женщина под бесформенным промокшим покрывалом — стройна и красива, хотя уже и не совсем молода — с ней ведь ехал взрослый сын. Он чувствовал ее тоску, ее тревогу, ее страх за малыша и стремление к далекому мужу, но он не знал — Марина это или не Марина, он не видел лица человека, ради которого она пустилась в этот тяжкий путь.

Тучи темнели и опускались все ниже. Казалось, еще немного, и они раздавят и путников, и телегу.

Женщина тревожно вглядывалась в густые сумерки. Хоть бы огонек какой мелькнул впереди, хоть бы зачернелась в полумраке избушка.

«Васыль!» — окликала она старшего. — «Васыль!»

* * *

Яков проснулся. Он лежал, укрывшись кожухом, на лавке, точно так же, как уснул, когда лихорадка сморила его. Но проснулся он не в своей горнице в Овражках. Он пробудился в новом сне, и всё вокруг было другим, всё, кроме одного: он лежал под кожухом на лавке.

Лавка, впрочем, тоже была другой, совсем не той, привычной, на которую он бессильно опустился, замученный своими неотвязными, больными мыслями. Лавка была странная, сколочена совсем не так, как те, что он встречал до сих пор в разных хатах.

И комната, в которой он здесь оказался, нисколько не напоминала те многочисленные горницы, которые он перевидал за свою жизнь в сельских хатах и в помещичьих усадьбах, и на постоялых дворах. Тем не менее Яков с полной очевидностью понял, что он проснулся на постоялом дворе.

Только где он, этот постоялый двор? Уж конечно, не на Украине. Всё здесь было непривычным — и ширина этой комнаты, и ее высота, и намазанные бревенчатые стены, и печка. А окна! В самые лютые морозы не видал он на черниговщине таких — обросших многослойной, узорчатой, мохнатой наледью.

В комнате было жарко, но за бревенчатыми стенами ощущалась такая свирепая стужа, что с непривычки, от внезапности теснило грудь.

«Вот он — край света», — подумал Яков, не двигаясь под своим тулупом и настороженно оглядывая чудную комнату.

Вдруг послышались громкие голоса, распахнулась дверь, и, словно в подтверждение его догадок, в комнату ворвалось облако жестокого мороза, — густое, плотное, хоть ножом его режь. В облаке смутно мелькнули две фигуры, которые, когда захлопнулась дверь, постепенно приобрели отчетливые очертания и весьма усердно принялись сбивать с себя снег.

Невесть откуда появился и хозяин, лысоватый и рыжеватый российский мужик в красной рубахе и черной поддевке.

Он завертелся вокруг приезжих, загомонил по-казапски. Те, страхнув с себя, как умели, снег, принялись разоблачаться — сбросили большие меховые шубы и тулупы, стали разматывать башлыки.

«Почтари», — подумал Яков, глядя, как один из приезжих прислоняет к стене кнут, а его товарищ ставит на лавку туго набитую черную сумку.

Да, край света — это не шутки, и легчайшая почтарская работа вряд ли, как на Черниговщине, подходит здесь для слабосильных и стариков.

Ямщик, высокий молодой мужик с кудрявой светлой бородой, сел у окна и о чем-то задумался, облокотившись на руку головой.

Почтальон устроился возле стола, в двух шагах от Якова. Он был моложе ямщика, совсем еще парнишка, хрупкий, стройный, очень красивый, с тонкими черными усиками и смешливыми черными глазами.

Яков, сам не понимая охватившего его волнения, нет—нет, да поглядывал на него.

Ямщик вполголоса затянул песню, что-то свое, ямщицкое, об их Волге—матушке, об их лютой российской зиме, но и о любви, и о разлуке, унылое, протяжное. Таких не пели на вечерницах у Фроси, где сердце радовалось каждой новой мелодии, как давно желанному подарку.

Яков всё поглядывал на паренька-почтальона, не особенно вслушиваясь в заунывный напев, и вдруг дикая российская тоска захлестнула его прелестью своей безбрежной печали, и он обмер, покоряясь великой силе ее.

«Ямщик из мужиков», — мелькнула мимо воли мысль, — «а почтальон — казачок, надо думать».

Почтальон негромко стал подтягивать товарищу.

— Хлопче, — спросил Яков, — ты казак?

Парень бросил на него живой, любопытный, насмешливый взгляд,

кивнул и продолжал напевать.

«Казак-то он казак», — всё сильнее волнуясь, думал Яков. «Но не в этом дело. Он похож на кого-то. На кого он похож?»

— Черниговский? — спросил он, всё так же не приподнимаясь с лавки.

Парень перестал напевать и с непонятной усмешкой в глазах коротко ответил:

— Уральский.

Так вот куда судьба его метнула, правда, всего лишь во сне — на Урал. Урал-батюшка, Яков слышал: так называют его русские казаки.

Родни у него на Урале нет. На кого бы ни был похож этот казачонок, Яков всё равно его не знает. И как только он это подумал, так тут же понял, что парень одновременно похож и на него, и на Марину. Просто сами они с Мариной так различны, что он не сразу выделил черты обоих, неуловимо смешавшиеся в одном лице.

Сердце громко стукнуло и стало комом в горле. Яков боялся, что не сможет заговорить.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Василий.

Бог ты мой! Та самая дорога на край света, которую он видел в первом сне. Куда ж еще можно трястись на телеге, дни и ночи по темной, дождливой, холодной дороге? Чем не край света Урал? Он не решался прислушаться к своему сердцу, там что-то оживало, что-то оттаивало в нем. Что-то толкало его расспрашивать хлопца дальше.

— А по фамилии ты как будешь?

— Мацук! — весело и дерзко отчеканил хлопец.

Наяву Яков давно бы уже одернул непочтительного мальчика, кем бы он ему не приходился. Наяву, конечно бы, одернул, но таких встреч не бывает наяву. Он привстал, заглядывая пареньку в лицо.

— Ты мой сын? — спросил он со страшным волнением.

Продолговатые маринины глаза с азиатским мацуковским прищуром поглядели на него серьезно и сочувственно.

— Я — ваш внук.

Станный сон, дивный сон. Яков встретил взрослого своего внука, годами не намного моложе его, разговаривает с ним, и внук действительно похож на него.

Но он похож и на Марину! Он гораздо больше похож на Марину, похож как вылитый, если бы не эта азиатская диковатость в глазах.

Сердце отчаянно колотилось, давно заледеневшее сердце стало горячим, ожившая надежда растопила его. Обмирая от волнения, он спросил:

— Твою бабушку звали Марина?

Василь смотрел на него, грустно усмехаясь глазами, и печально качал головой.

«Нет», — говорил этот полный жалости и печали, виноватый, насмешливый, сострадающий взгляд. «Вы — мой дед, Марина — моя бабушка, но того, о чем вы спрашиваете, не случилось. Вы не стали мужем и женой. Так и не стали. Никогда. Никогда».

Яков хотел расспросить его о той женщине на телеге: кто она ему — невестка или дочь, и почему они попали на Урал, и еще о многом, но красивое юношеское лицо с яркими мариниными глазами вдруг затуманилось, стало отдаляться, тускнеть и исчезло.

Всё исчезло. И постоянный двор, и ямщик со своей унылой и пленительной песней.

И надежда. Она ушла прежде всего, как только парень покачал головой и посмотрел на него с жалостью.

Яков лежал, закрыв глаза, то ли уже в Овражках, то ли еще на Урале, чувствовал, как снова стынет его сердце, как с удесятенной силой возвращается боль.

«Дети поженились!», — подумал он отстраненно и трезво. «Дети наши поженились, а нам, выходит, не судьба».

Спать совсем уж не хотелось. Он встал, зажег свечу и опять присел на лавку, хмуро оглядывая знакомое свое жилище.

«Дети поженились, а не мы», — печально думал он опять и опять.

«Поженились...» Он вдруг замер, словно прислушиваясь к чему-то.

«Нас судьба не допустила, так ведь любовь наша детям передалась!» Внезапная мысль, а вернее сказать, чувство ошеломило Якова. Он осторожно, ощупью принаравливался к нему.

«Мы проживем всю жизнь в разлуке и всю жизнь будем любить друг друга». В этом Яков был уверен: их любовь с Мариной на всю жизнь. «Но ведь любовь наша не кончится с нами. Не умрет, перейдет на детей. Нас с тобой препоны разлучили», — он с печальной усмешкой вспомнил «панское» слово, — но уж детям нашим не помешает никто. Какая же великая нам выпала любовь!

Он подумал, что, наверное, многие твердят Марине: стерпится, слюбится — потерпи, не журысь. Ох уж эти умники, всё-то они знают. Это часто бывает, что любовь проходит без следа.

Только не верь им, серденько, у нас с тобой ничего не пройдет. Наша любовь не стерпится никогда и ни с чем.

Про ту, что стерпится, не складывают песен, а про ту, что нам с тобой досталось, какие песни про нее поют! И про бандуриста, что тоскует без своей милой в солнечном, прекрасном, словно райский сад, Крыму. И ту, протяжную, хватающую за душу, что пел ямщик.

Боль не ушла из его сердца. Она, наверное, стала даже сильнее. Но

была это уже другая боль. Боль причастности к великому чувству и к великой печали. Боль причастности к великому. На нее не жалуются. Не клянут свою участь. Ее несут до последнего часа всю жизнь со спокойным и горьким сознанием: судьба избрала нас для великого испытания. Господи, пошли нам сил нести наш крест.

Дмитрий РАКОТИН

«ПРИХОДИТ ГРУСТЬ, ПО-СВОЙСКИ, КАК НА ЧАЙ...»

* * *

Вне тоски, вне времён, вне надсадного гуда
Тихий храм, где на стенах лучи.
Я единственный здесь не надеюсь на чудо,
Зажигаю свечу от свечи.

В томном воздухе кружатся просьбы, химеры.
Полон храм тишиной, как фиал.
И неверье моё, как подпорка для веры
В то, что злу неизбежен финал.

* * *

Люди пишут картины, стихи,
Покоряют высоты пенья.
Я ж умею влезать в долги,
На хрена мне сие уменье?

Я отрину безденежья гнёт, —
Экономя, живя «тышком-нышком»,
Но опять по бюджету пульнёт
То продукт, то хорошая книжка.

Не оставь меня, Бог, помощи!
Протираю пыль на окошке.
А вокруг меня — только долги,
И на шее моей — две кошки.

* * *

Что же осталось от Родины?
Может быть, этот стожок,
Избы, сады, огородики,
Тёплый прозрачный снежок?
Может быть, мгла безответная,
Гуси, продмаг, старики,
Дымка вечерне-рассветная,
Яма далёкой реки?..
Ветер поёт, как юродивый.

Вижу бывшее сквозь снег.
Солнце утраченной Родины
Прячу я в сердце от всех.

* * *

Утром нет нудьги дремотной,
Шевелится город мой.
Я с невыспанною мордой,
Отдежурив, жму домой!

Продавцы стоят с товаром.
Иностранцев льётся речь.
Пенсы ходят по базарам,
Натянув штаны до плеч.

Небо вечно гениально,
Хоть имеет серый вид.
На зубах у всех повально
Пыль весёлая скрипит.

* * *

Духом я, ребята, — русский
(Ясно это и ежу),
Лишь целуюсь по-французски,
По-английски ухожу,
Как индеец, голодаю,
Как бульбаш, люблю пюре,
По-турецки восседаю,
Глядя телек, на ковре,
Как японец, склонен к чаю,
По-узбекски пью с пиал...
И в одном лице вмещаю
Весь Интернационал!

* * *

Приходит грусть, по-свойски, как на чай,
Осенними промозглыми ночами.
С ней под руку — туманная печаль,
За ней — тоска, наследница печали.
О, горькое томление в груди,
Мозги и дух терзающая сила!

Отчаянье, четвёртым не входи!
Четвёртое — совсем невыносимо...

В.С. ВЫСОЦКОМУ

От Ваших песен сердце пламенеет.
Златой аккорд, высокая строка...
Но сколько неизвестных нам Орфеев
Сожрали бескассетные века?!

Смурны теперь и пастбища, и кони.
Темны леса, дороги и вода.
Увы, увы, поэзия в загоне,
Другое потрясает города.

Коллеги Ваши дожили до пенсий.
«Таганку» сдул раздора ураган.
За Вами ж — Ваши сказочные песни,
И Гамлет, и Жеглов, и Дон Гуан.

Те песни, словно рать бойцов — несметны.
Народной стала личная стезя.
Не буду говорить, что Вы «бессмертны»,
Но всё же Вы с бессмертием — друзья.

Глядит природа в небо по-сиротски,
Ни света, ни прогала впереди...
Вы угадали с временем, Высоцкий,
А с нынешностью
Вам —

не
по пути.

«ЗОНА»

Посвящается Стругацким

Сплошь безликость
в пошлом мире чудаков.
Всюду дикость,
нет ни Бога, ни богов.
Ни кумиров,
ни видений старины.
Голубь мира

стал нам ястребом войны.
Всюду мели,
а не глуби бытия,
всюду — звери,
а не зверь — лишь только я.
Словно в сквере
заблудился, как debil.
Словно двери
я не те открыл в сей мир!
«Не до жиру,
быть бы живу в жизни сей»,
но не в жилу
жить, как плут, как фарисей.
«Где тут свалка?» —
спросят.
Или: «Где базар?»
Я не сталкер,
был бы сталкер, я б сказал.

* * *

За окошком тряс природу
Ветер буйный, как дикарь.
Навалилось время года
Под названием декабрь.

Понахмурилась погода,
День затмило темнотой.
В пятьдесят четыре года
Стал я полным сиротой.

Мёртвые мои — не зримы,
Но спасают в жизни злой.
И всегда, всегда я с ними,
А они всегда — со мной...

Нина НИКИПЕЛОВА

«Мой лес вечерний...»**ПОЭТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЛИРИЧЕСКОМ
СЮЖЕТЕ ЧИЧИБАБИНА**

Однажды и впервые прочитанное стихотворение может остаться в памяти одной строкой, эта строка может показаться первой в стихотворении и держать на себе весь воображаемый его лад, настроение и смысл. «Мой лес вечерний...» — хочется повторить снова и снова и продолжать думать, что эта первая строка сама уже целое стихотворение. «Мой лес» — награда и надежда, «лес вечерний» — утешение, прощение или прощание.

Потом окажется, что это 40-я строка в длинном — 48-строчном стихотворении Бориса Чичибабина (1978), а первые строки звучат совершенно иначе [6, с. 269]:

Мне снится грусти неземной Язык безустный,
И я ни капли не больной, а просто грустный.
И далее идут виражи в бесконечность:
Не отстраняясь, не боясь, не мучаясь ролью, тоска
вселенская слилась с душевной болью.

И это все снится?! Когда-то Фет говорил, что незнакомые стихотворения нечего читать дальше первого стиха, и по нему можно судить, стоит ли продолжать чтение. В данном случае совершенно очевидно — стоит. Стоит попытаться понять, как рождается, растет, движется поэтическая мысль в лирическом сюжете, что заключено в ней.

Если сюжет — это «динамическая система событий» [5], а в лирическом сюжете событием являются гасю и етосю — мысль и чувство, — то важно попытаться увидеть, как «грусть неземная» сливается с «тоской вселенской» и переходит в личную «душевную боль?» Как трансформируется первый поэтический, почти неосоздаваемый образ — «грусти неземной язык безустный?» Наконец, увидеть или услышать, как обретается дар речи в «глухонемой вселенной» (это образ из последней строки стихотворения И. Бродского на 100-летие Ахматовой). Ведь язык безустный — язык для внутреннего слуха, язык молчания.

Сюжетная основа лирического стихотворения строится как перевод всего разнообразия жизненных ситуаций на особенный язык, в котором развитие событий сведено к трем возможностям:

1. Тот, кто говорит — «я»;

2. Тот; к кому обращаются — «ты»;
3. Тот, кто не является ни первым, ни вторым — «он», «она», «они».

Названное стихотворение построено так, что основным становится только «я», «ты» — номинативно — Боже, Господи — диалог отсутствует, а «они» (люди) являются «лицами без речей». Таким образом, сюжет перенесен в абстрактно-лирическое пространство, лишен бытовых, биографических признаков. Главным действующим лицом остается лирический герой, в котором, согласно Б. О. Корману, объединяются в себе субъект и объект, он и носитель сознания, и предмет изображения, например, со своим настроением «грусти неземной».

Эпитет «неземной» давно живет в поэтическом лексиконе символистов. В стихах Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Минского можно встретить: «Я молюсь неземной красоте», «Безучастность лица неземного», «Словно призрак неземной», «Неземное великое слово одно» и даже «веет сном и грустью неземной», «великой власти неземной», «книга неземная». Однако в каждом этом контексте эпитет «неземной» статичен и представляет иллюзию, чистую видимость мечты, символа, отвлеченной аллегории. Тогда как экспрессия и эмоции «неземной грусти» у Чичибабина динамичны и получают новые возможности поэтического выражения. «Неземная грусть», «вселенская тоска» фокусируется в собственной уникальной «душевной боли», о причинах которой предстоит думать, догадываться, размышлять. «... разум неистощим в соединении понятий, как язык неистощим в соединении слов», — писал Пушкин в рецензии на Сочинение Сильвио Пелико «Об обязанностях человека» (1836 г.) [3, с. 445].

Понятие «поэзия мысли» введено в научный оборот Лидией Гинзбург в ее монографии «О лирике» [1]. Будучи перенесенным из литературной критики 20-х годов XIX века, оно связано с именем Баратынского, Тютчева, с лирикой зрелого Пушкина, позднего Лермонтова, Некрасова, по-своему Фета, который был убежден, что если в стихотворении есть мысль, она обязательно поэтическая.

Уточняет, развивает это понятие Александр Кушнер, современный теоретик и великолепный практик — «... поэтическая мысль — это нечто иное. — пишет он. — Повторю еще раз: это мысль, родившаяся в счастливой метафорической рубашке. Нет, не любая метафора, но мысль, явившаяся в метафорическом облачении» [2, с. 80].

Поэтическая мысль в данном стихотворении — осмелимся предположить — это мысль «об обязанностях человека», это обостренное чувство собственного существования и стремления разделить это чувство с читателем. Для преодоления внутреннего

психологического напряжения, отчуждения и одиночества автор находит свою счастливую метафору — сон, сон как часть конкретного жизненного опыта, сон как метафору внутренней жизни, сон, который снится «ночами злыми» не раз. Глагол несовершенного вида «снится» предполагает повторяемость, неоднократность действия. Лирический герой переживает эмоциональный всплеск «душевной боли» и при этом заверяет себя или незримого собеседника: «И я ни капли не больной, а просто грустный». Разговорно-речевое «ни капли» делает его образ простым, узнаваемым и одновременно определяет как отдельную каплю в море «вселенской тоски», побуждает к размышлению: «не больной», потому что «переболел»:

Среди иных забот и дел
На тверди серой
Я в должный час переболел
Мечтой и верой

И впереди главное тяжкое признание и открытие, предваряемое автохарактеристикой:

Не созерцатель, не злодей,
Не нехристь все же,
Я не могу любить людей,
Прости мне, Боже! —

С уточнением: ... я не могу любить людей, распявших Бога.

Фантастический мир сна вмещает неизмеримое пространство и временный диапазон. Пределы «душевной боли» раздвинуты от участников названной библейской ситуации до современных автору «братьев и сестер». Эмоциональный тон становится анализирующим, оценивающим, смысловая сила стихотворения нарастает, и проступают жанровые контуры — это не просто сон — это творимая во сне молитва, особый поэтический жанр во всей системе русского стиха. Слова-символы — душа, сон, боль — определяют основной мотив лирического сюжета: пограничное состояние между жизнью и смертью. Мысли о смерти обостряют «вечные» вопросы: почему человек не может ощутить время своей жизни как главную ценность? А жизнь другого человека? Отчего зависит ощущение жизни как главной ценности? «Поэзия — единый космос, границы времени и пространства для нее несущественны, — пишет Ирина Сурат и каждое отдельное стихотворение, если оно подлинное, тоже образует свой космос» [4, с. 140]. Весь мир сна — событие, которому нет и не может быть свидетелей.

Припав к незримому плечу
Ночами злыми,
Ничем на свете не хочу
Делиться с ними.

В этом парадокс лирического сюжета: единичное, скрытое от всех событие, оказывается достоверным, касается всех, кто задумался над строками стихотворения. Мысль о столкновении жизни и смерти не может стать пищей для ума одного человека, она касается каждого, и свидетелями становятся современные и будущие поколения читателей:

Гордыни нет в моих словах —
Какая гордость?
Лишь одиночество и страх,
Под ними горблюсь.
Источник боли таится в признании:
Душа с землей свое родство
Забыть готова,
Затем, что нету ничего
На ней святого.

Человек-творец, воплощенный в поэте, наделен особым даром проникновения в жизнь. Он не способен существовать в гармонии с собой в повседневном мире, в мире быта, но он не способен также преодолеть границы этого мира, его языка и поэтому должен мучительно сомневаться в реальности, истинности, аутентичности своих предчувствий и представлений об «ином», неземном мире, поскольку этот мир дает о себе знать лишь в виде снов и желаний. И во сне лирический герой Чичибабина грустит, тоскует, негодует. Его эмоции не прямые реакции на конкретные частные события, а переживание собственного места в мире, среди людей, из-за которых «так мало в жизни светлых дней, так «черных много!» Из-за тех, кто «небо нежное обрек алчбе и сраму», для кого —

Да смерть — и та — нейдет им впрок,
Лишь мясо в яму... [6, с. 270]

Намеренно резкий тон, прямолинейная лексика — мясо, яма — направлены на изменение сознания, на понимание хрупкости, драгоценности всего живого, постижение чуда жизни.

Покуда смертию не стер
Следы от терний,
Мне ближе братьев и сестер
Мой лес вечерний. [Там же]

«Мой лес вечерний» оказывается важным лирическим событием в сюжете, с ним рядом нарастающее чувство боли, тревоги за «братьев и сестер». Покуда жив, будут рядом благословение, жалость, сострадание, любование, благодарность, поклон чему-то цельному. «Мой лес вечерний» не деталь пейзажа, а собирательная внешняя жизнь, желание преодолеть, превозмочь беду, бессилие. Но во сне остается не реализованным. Напротив — возникают новые молитвенные

интонации, создающие впечатление произнесенных вслух последних строк, появляется дыхание речи:

Есть даже и у дикарей
Тоска и память
Скорей бы, Господи, скорей
В безбольность кануть.
Скорей бы, Господи, скорей
От зла и фальши,
От узнаваний и скорбей
Отплыть подальше!.. [Там же]

«Душевная боль» как трагическая нота молитвы приводит к желанию «в безбольность кануть», «отплыть подальше». Это призывание не может стать главной поэтической мыслью, не может быть ради нее создано все стихотворение. Остается здесь еще какая-то загадка, тайна, надежда. Может быть, она заключена в словах:

Есть даже и у дикарей
Тоска и память...

Способность чувствовать и помнить автором признаны важнейшими качествами человека, они связывают его с будущим. Каждая отдельная мысль не нова, но мысли могут быть новы до бесконечности. Следующее (1978) за этим стихотворение Чичибабина начинается словами [там же, с. 271]:

Я почуял беду и проснулся от горя и смуты,
И заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, —
И не знаю, как быть, и как годы проходят, минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем, помогу?

Весь свой творческий труд поэт называет «неизвестным долгом». Возникает новая мысль: неизвестный — кому? Почему?

Единственное, неповторимое свойство «душевной боли» в стихотворении Чичибабина создает уникальный характер лирического текста, который можно принять как часть этого долга, как стремление разделить с читателем выстраданные мысли о ценности человеческой жизни, а нежность ко всему, что живо, ощутить как бессмертие благодаря «моему вечернему лесу».

ЛИТЕРАТУРА

1. Гинзбург Л. О лирике. — Л.: СПб, 1974.
2. Кушнер А. Апполон в траве. Эссе. Стихи. — Москва, 2005.
3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-тт, т. 7. — М. — Л., 1951.
4. Сурат И. Три века русской поэзии. — Новый мир. — № 11. — 2006.
5. Цилевич Л. М. Сюжет и слово в чеховском рассказе. — В кн.: Вопросы сюжетосложения. Сб. 4. — Рига, 1976.
6. Чичибабин Б. В стихах и прозе. И все-таки я был поэтом... - Харьков, 1998.

Наталія ГОРШНА
МЕДАЛЬЙОНИ

ПОРТРЕТИ МИТЦІВ «СРІБНОГО ВІКУ» В СОНЕТАХ

АНДРЕЄВ (1926)

Відчути наростаючу біду
Вечірнім серцем, з жаху омертвілим,
На всій землі лиш вибрані уміли.
Він серед них, йому це – на роду.

Він знав, що, як і всі, стоїть в ряду
На грізний суд. Сприймавши драму тілом,
Покару зрів над грішним світом цілим
І твердив: «Що ж, я мушу, я іду».

Скорботно знав: на кожному повороті
Хтось в сірому* планує нам скорботи –
Багато ще чого скорботно знав,

Коли порушив ті пекельні плани
І в хвилях гуркітливих океану
Здійняв на щоглу рятувальний сигнал.

АХМАТОВА (1925)

Послушниця обителі Любов
Перебирає чотки молитовні.
В ній почуття ясні, мов місяць вповні,
Котрі осінній смуток не зборов.

* «Хтось в сірому» – персонаж драми Л.М. Андрєєва «Життя людини», 1906.

Він, Знайдений, не буде з нею знов,
Хоч клич – не клич. У гордощах – гріховні
Були обоє. Він відплив безмовно
Рікою, де за воду – її кров.

Вже вечір. Біла відлітає згряя.
В скорботу жінку сутінок вбирає,
Троянди крові в неї на вустах.

Чи кров'ю має сплинати небога?
Та не шкода їй крівці задля Бога:
Троянди крові – квіти для хреста...

БАЛЬМОНТ (1934)

Цю птаху з володимирських ланів
Життя в пишноти одягло павині.
Та знай: рідніших, ніж вільшанка синя,
Нема птахів у нашій стороні...

Коли юнацькі він складав пісні,
На них сріблится зорянистий іній.
Співець тоді милішим був, ніж нині –
У гуркітливій райдузі вогнів.

Він той поет, який побляклим людям
Проміння дав, сказав: «Як Сонце будем!».
Рядки духмяні дарував серцям

І підкорив своїм стихійними віршем,
В священний храм Поезії увівши,
Послушником якого є він сам.

БЛОК (1925)

Вабний, як Демон Врубеля, хоч дечим
Він лебедя нагадував – перо
Його було біліше за срібло,
А стан дружив, як це не дивно, з френчем...

Приємний і жіноцтву, і малечі,
Він поетично бачив в злі добро.
Злітав. Зривався. Та не поборов
Любов до смерті і до самозречень.

Він марно на землі любов шукав:
Її нема тут. І як свій оскал
Явила смерть, збагнув: то Незнайомка.

Побіля раю чути тихий крок:
У сяйві віршів проступає Блок,
І кожен вірш – як золота соломка...

БРЮСОВ (1926)

Його запалював завзятий клич,
Хто б не кричав – Батий, а чи новатор...
Поспішно честолубець сухуватий
Приймав цей бунт і йшов йому устріч.

І на рутину підіймався бич
Рукою, більше звиклій обіймати,
Платив він за новинку щедрю плату,
По-європейськи скроєний москвич.

Народжений ділком, він став поетом.
Як часто голос він зривав фальцетом,
На глази підіймаючи слабе!

Себе зробити мріючи чавунним,
Готовий гімн співать прийдешнім гунам,
Та перш за все – він не щадив себе...

БУНІН (1925)

В його рядках – поезія весни
І схили гір, що зблискують слюдою,
Й берізка, що з жагою молодою
Обтрушує свої зимові сні.

Прозорий вірш, як квітень осяйний:
То він біжить протічною водою,
То жевріє студеною зізодою,
Веселий, бадьористий і хмільний.

Геть інший він у пору листопаду –
В нім осені притихлої відрада.
Сумна ріка. Рушниця. Вірний пес.

Душа й повітря скуті у кристалі.
Камін. Вино. Перо з м'якої сталі
Й самотництва омріяного хрест.

БЄЛИЙ (1926)

Його стезя поезії – проста,
Із емоційно-романтичним блиском
Він височить не те щоб обеліском,
Так, рядова коломенська верста...

Заумна глибина його пуста –
У спліні філософії англійським
Він вправно затуманює нам мізки,
Та то, по суті, – марна суєта...

Хто ж він? – Мудрець? Розумник? Божевільний?
Чи блазень, що здійма хаос суцільний? –
Читає в розгубі зразу не збагне.

Та ляльку заводну не оживити
Ні ефемерним золотом в блакиті*,
Ні глянцевиими зблисками пенсне...

* «Золото в блакиті», 1904 – книга віршів А. Бєлого.

ВЕРТИНСЬКИЙ (1926)

Бездушний дух гнилої духоти –
Фокстротний, ресторанний, кокаїнний.
Він винайшов свій власний жанр – кретинний,
Принизив сміх до рівня сміхоти.

Гигочуть, надривають животи,
Аж сльози ллють, як цей фігляр неспинний,
Ділок, шахрай, співець кохань перинних, –
Кривляється, мов геній глупоти.

Все скроєне у нього косо-киво,
В нім глибина бездонного обриву,
В який летить Земля на всіх парах.

Не знаю, як розгнuzданій Європі,
Що звихнута від крові та утопій,
Та клоун цей мені вселяє страх.

ГІППУС (1926)

Її лорнет проткне вас без пощади,
Провидиці амбітної лорнет.
Із вуст: і «ні» – солодке, наче мед,
А «так» благословляє, наче складень*.

Вона живе – лиш творчості заради,
Жіночий тут – не дамській кабінет...
Ллю лестощі в призначений сонет,
Як ллють в фужер бродіння виноградин.

Нехай у ліриці вона й не ас
(А доля – б'є і б'є її щораз!) –
Та дилетанта не відзначить схвально.

Кров вікінгів чистіша від льодів,
Здається, що зупинить шквал штормів
Лиш поглядом своїм самодержавним.

*Складень – ікона з двох, або трьох частин.

ГОРЬКИЙ (1926)

Талант сміявся... Бірюзовий штиль
Відсвічував прозорістю дзеркально,
Сміявся в ньому спінено, кришталю,
І водоростю пахнув його стиль.

Сіль сліз солодких знала Ізергіль,
Пиля солодкість хвиль солоних Мальва.
Ні кофточка, ні блуза, ані тальма*
Сердець квітучих не сховали хміль.

Не спадкоємець нічийого скарбу,
В душі своїй він віднаходив барви
Для доль людських, і кожна з них – гірка.

Прислухайтесь: в Сорренто, як на Капрі,
Стікають й досі кришталеві краплі
Джерельного таланту босяка.

ГУМІЛЬОВ (1926 – 1927)

Конкістадора шлях – не для слабких,
Але й не без романтики, звичайно.
В перлинах бачив – дна морського тайну,
Яка сама просилися в рядки.

В намет ввалившись, сплять мандрівники,
А він писати кинувся негайно.
Європа хоч до Африки несхвальна,
Та дух її – вогненні язики.

А хто з поетів так іще зумів:
В своє життя вмістити сто життів?
Коханець він, Вояк і Звіробій –

Усе вмістилось в лицарській манері.
...Він за Землею тужить на Венері
І зрить її у зоровій трубі.

*Тальма – кругла, довга верхня жіноча накидка.

ЄСЕНІН (1925)

В життя він вбіг рязанським простаком,
Блакитноокий, кучерявий, русий,
Зазнайкуватий веселун безвусий
До зваб життя легкий і на підйом.

Але невдовзі бунт жбурнув багном
У сяйво віч. Отруєний укусом
Змій смуги, він злословив над Ісусом
Й здружитись постарався із шинком...

Серед пройдисвітів і куртизанок
Вже майже звик стрічати кожен ранок,
Та все ж обрид йому той балаган...

Розкаявшись, свої думки пісенні
До Бога знов просяг Сергій Єсенін,
Цей набожний російський хуліган...

ЗОЩЕНКО (1927)

— Так ось як ви белькочете? Хи-хи! —
Подумав він незлобно і лукаво.
І посміхнулась цій догадці слава,
І глупство розлилося навкруги.

Лавина нісенітної пурги
Лягла на вуха змученій державі.
І вузьколоба публіка цікава
В ній борсалась з неробства та нудьги.

Дурний невиліковно і глумливий,
Можливий обиватель неможливий,
Докучив ти мені, як і твій жарт!

Базіка всюдисущий і повсюдний,
Тиняєшся по юрбах велелюдних,
Де кожен муж жони своєї варт.

В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВ (1926)

За провідною зіркою* плив бриг
На пошуки забутої Еллади.
Вдивляючись у зоряні свічада,
Кормилом правив сивий чоловік.

Ні пісня шквалів, ні чаїний крик,
Ні тріскотня прозорої цикади,
Нічого не несло йому розради:
В безвиході розпачливій поник.

У безумі – знайти б своє колишнє,
Усе живе здавалось злісним, грішним –
Що увінчати не дає вінцем

Йому свої омріяні химери.
В дарунок морю кидаючи перли,
Плив кермовий, народжений мерцем.

ГЕОРГІЙ ІВАНОВ (1926)

Він добре вмів молоти язиком,
Ще за кадетства палко прагнув слави.
Тоді вже був дводушним і лукавим –
Підступний паж і вірний епігон.

Чи є для безсердечного закон
Любові? Франту – то забава.
Та міг цілком серйозно й величаво
Співати довго про якийсь вагон.

Коли це так – то ясно і все інше.
Перо у гної – певно ж, не для віршів,
Ним не сягнеш вершину світову.

Чужі чуття – його писань основа;
На вигляд він «цілком під Гумільова»,
Що цілить в око, а не у брову...

*«Провідні зорі», 1903 – назва книги віршів В'яч. Іванова.

ГОР-СЄВЕРЯНИН (1926)

Хороший тим, що зовсім він не той,
Яким його сприйма бездумний натовп,
Заклявся віршів зовсім не читати,
Раз там – без ананасів і авто,

Фокстрот, кінематограф і лото –
Ось те, куди юрма біжить затято!
А поміж тим його душа крилата,
Як день весни. Але це знає хто?

Прокляття війнам, миру шанування
Він шле у вірші, гідному визнання,
То в смутку, то у радощах буття.

І в кожній пісні, зроненій поетом,
Іронія до друзів, до планети...
Бо як інак, коли поет – дитя?

ІНБЕР (1927)

Троянда покохала в Солов'я:
Не квітка – птаха, а кравця – панянка...
Коли нове щось – у стару співанку,
Якась гостринка в цьому є своя.

...Хрестили разом ми одне хлоп'я,
Що назване Капризом – забаганка.
Сказав я після довгої мовчанки,
Що їй самій доречне це ім'я.

В письменниці поєднуються чітко
Дошкульний розум і чарівність квітки.
А ще й, буває, так здійме на глум!

І грація вплелась в талант лукавий.
Ось жінка, у якої серце жваве
Й бере в полон, як з вуст злетіле «мумм».

ФЕЛІССА КРУУТ

Ти – жінка з Гамсуна*: в тобі, як в ній,
Простого й хитромудрого багато,
І сповнений найтоншим ароматом
Твій кожен день, прекрасніший із днів.

І тінь твоя, прозора, наче німб,
Її торкаюсь трепетно і свято.
Штормами бита ти, та не зім'ята,
Лиш синь твоєї співмірна глибині.

Ти – пролісок, маленька синя квітка,
Що в приморозках квітне, а не влітку,
Й свій цвіт непишний – світу віддає.

Ловлю форель і відтаю душею,
Як ти, чужинка, мовою моєю
Говориш, мов співаєш солов'єм.

КУЗМІН (1926)

Його рядки віршовані – пласкі,
Мов від слідів хронічної застуди.
І у обличчі є щось – від Іуди,
І в мріях про струнких молодиків.

Він борсався в естетиці, як вмів,
Такі колінця викидав на людях...
Але душа його була від чуда
Полив'яних дитячих голубків.

Він скаржник і скиглій, яких замало.
Чому ж тоді усіх його фіалок
Й обридлих руж так манить аромат?

Чи не тому, що у цього позера –
Осінні очі, як сумні озера,
Що він, – і блудний, – все ж Господній брат?..

*Кнут Гамсун (1859 – 1952) – норвезький письменник, лауреат нобелівської премії з літератури за 1920 р.

КУПРІН (1925)

Письменник балаклавських рибаків,
Прихильник тиші, моря, супокою
І Гатчини* з її старовиною...
Близький нам простотою щирих слів.

Бузова пісня линула з садів –
Трель солов'я розносила луною,
А він, що тільки-но залишив зброю,
У душах вбивць – любов збудить хотів...

Для нього всесвіт – і село маленьке,
Для нього чиста – і пропаша Женька,**
Душа така ж – в людини і в коня.*

За чином офіцер, чернець душею,
Він зло і кривду творчістю своєю
На поєдинок викликав щодня.****

ЛЕСКОВ (1927)

Низи Росії – то злиденна затерть*.
Російський бабейзм** – її верхи.
Довкіл – плюгавство, скверна і гріхи,
Осмеркло все: палац й церковна паперть.

Немов історик, бреше снігу скатерть:
Розтане сніг, відкриються мохи,
Розквітнуть квіти, прилетять птахи
Й прийде весна, ясна мов Богоматір.

І вознесуться великодні дзвони,
Й письменник, як священник на амвоні,
Огляне сумно світовий вертеп

* Письменник жив у Гатчині (під Петербургом).

**Пропаша Женька – персонаж роману «Яма».

*** «Душа така ж – в людини і в коня» – за повістю «Смарагд»,

**** «Поєдинок» – відома повість Купріна.

І скаже: «Ненажеро Шерамуре***,
Ти, певно, найпритомніша фігура
У цьому світі дурнів та дуреп».

МІРРА ЛОХВИЦЬКА (1926)

Я відчуваю: в затишок мій дальній
Мелодія навіялась з імли.
Так що це там? – фіалки розцвіли?
Чи вірш заколихався музикальний?

Цвіт опадає з яблуні вінчальний.
В скляній труні царівну понесли.
Як мало їй відпущено хвилин
Тут, на землі, прекрасній і печальній!

Вона пішла до вітряних долин,
Де жде її жаданий Венделін,
Що знехтував ярмом людської плоті,

Хто був їй вірним не роки – віки,
Хто кликав перевтілитись в хмарки,
Приречені розтанути в польоті...

МАЯКОВСЬКИЙ (1926)

Саженим* віршем в простір вибуха,
Й нездари пишуть під його колодку,
Та шлях до слави не такий короткий.
А в повсякденні він, звичайно, хам.

Співає гімни всім сімом гріхам,
Для мітингів міцнющу має глотку.
Історики ще матимуть роботу –
Копатися в поезотельбухах...

*«Якась затерть, що втратила ознаки карбування» (Лесков) – дуже давня затерта монета.

**Бабізм (бабеїзм) – релігія, створена Бабом 1844 року в Ірані.

***Шерамур – герой однойменної повісті М.С. Лескова.

Обставини якби тому сприяли,
Чеснот своїх явив би він немало,
А так – блазнює пресненський апаш:

Вирує в ньому сила молодецька,
Як те в народі споконвік ведеться,
Вся Русь у ньому, надто вже він наш!

МЕРЕЖКОВСЬКИЙ (1934)

Страшна в Європи доля – боже збав!
Судилося їй – те ж, що й Атлантиді.
О ні, це зовсім не ефемеріди*,
А що тоді – скептична похвальба?

Світ не врятують книги чи мольба.
Всі мантиї зітліють, як хламиди.
Все передбачив. Фатуму флюїди
З його чола підхоплює юрба.

Філософ правий, та з ним нудно поряд.
Я ж слухаю, про що зірки говорять,
Як пахне йодом ввечері лиман.

Втішає хворих він – й не має рівних.
...А я радію, як вдивляюсь в прірву,
Звабливий прославляючи обман!

*Сажень (косий сажень) – давньоруська одиниця вимірювання довжини, рівна 2,13 м.

*Ефемеріди – таблиці небесних координат Сонця, Місяця, планет.

ОДОЄВЦЕВА (1926)

Чарівне в ній усе – і навіть «ну»,
Хоча воно й від фурманів дебелих.
І вірш, раптовий наче дощ в пустелі,
Який усім відкрив страшну жону...

Серпом недбалості я не зітну
Посіви, що зійшли на акварелі...
О, як бентежать іронічні трелі
В ній явлену небесну вишину!

А дружба із жахливими котями –
Нерідко до лица розумній дамі,
Котрій дано крізь простір і крізь час

В самім раю гуляти поміж яблунь,
Привносячи найтонший присмак ямбів
І дотепів, яким в єдемі зась...

ПАСТЕРНАК (1928)

Коли в поети пнеться Пастернак –
Це невтямки для мого розуміння:
Не з божим даром – зі своїм хотінням,
Та я до нього ставлюсь аніяк.

Захоплюються ним – невтішний знак,
То у город поезії каміння:
Чим більше у рядках словоплетіння,
Тим глибший зміст знаходить в них простак.

Тупих нікчем тупоголовий пастир
Лахміття підрихтовує і застар,
Дурисвітів виплоджує. А зирк,

Зготоване нездарою спітнілим
Проб'є мізки Івана чи Марії,
Що генієм вважатимуть цей цирк.

РОМАНОВ (1927)

Він ніжний весь такий, чутливий, наче Гамсун.
Хто жінку покохав, цінує марноту.
Як той сумний листок, зів'ялий на льоту,
Облишив він жалі за проминулим часом.

О, цей високий штиль! Як мудро, без екстазу
Єднає у собі безжурність золоту
І надмір юних мрій, й криштальну чистоту.
Так близько це мені, так трепетно щоразу!

Імення царське тут по-царському звучить,
Від нього промені відсвічують в блакить
Безцінним сяєвом, коштовним, мов перлина.

Він найчарівніший, найглибший з молодих,
Й дорожчий, ніж золото. О, люба батьківщино,
Ти досі ще жива в письменниках своїх!

СОЛОГУБ (1926)

Хоч сонце невловиме, як дракон,
Та життєдайні промені смертельні.
Сьогодні в лузі барви акварельні,
А завтра – сніг. Ось сонячний закон.

Поет збагнув його: життя, мов сон,
Всі наші дні полічені ретельно,
Лиш миті нам відпущені мізерні –
Спізнати болю й радості полон.

Він тріюлет, немов клинок із піхов,
Діставши шанувальникам на втіху,
Відшліфував до сяйва, зняв увись!

Чи ж не трагічно стомленим повікам
Склепитися перед нахабний віком,
Що, наче біс дрібний*, – із нами скрізь?..

*«Дрібний біс», 1905 – роман Ф. Сологуба.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ (1925)

Він жив в Утопії. А у Москві
І в світі цілому знаходилися люди,
Які всерйоз вважали, що повсюди
В таких же чарах – суцї всі живі.

І пнулися з сумбуром в голові,
Під гуркотню гарматних перегудів,
Йому нести уми свої і груди,
Свої безкрилі думи вікові.

Солдат, священик, вождь, бурлака п'яний
Збиралися до Ясної Поляни,
Захлялі у розпусті і у злі.

До них виходило старече тіло,
Утішити й допомогти хотіло
І – не могло: дух був не на землі...

ОЛЕКСІЙ ТОЛСТОЙ (1925)

Рибалка і панич у звичках він,
Друг, сім'янин, хазяїн хлібосольний.
Обожнює Москву першопрестольну,
Її прадавніх дзвонів передзвін.

Слова гучні облишив. Навзамін
Своїй землі – злиденній і бездольній,
Аж до блюзнірства надто богомольній,
Талант поклав – на славу чи проклін.

Замучений ходіннями по муках,
Межі дійшов у біженських розпуках,
Ні в хмари не здіймавсь, ні на зірки.

Бо що життя? – Вербка, вітрами бита.
Свого дитинства – хлопчика Микиту –
Не проміняє батько на віки...

В сонеті обіграні назви творів О.Толстого «Ходіння по муках» та «Дитинство Микити».

ТЕФФІ (1925)

Вона звідтіль, з міжзоряних світів,
З Іронії-планети. Мов насіння,
Злетіла задля нашого спасіння
І зацвіла бузком узбіч ставків.

Людські думки і праця в плинні днів –
Хиткі й бліді, мов від задухи тіней –
Враз ожили в духмяному промінні
Прекрасних квітів з весняних садів.

О, ті інопланетні аромати
Поволеньки взялися присипляти
Земну вульгарність, дурість, свари, гріх!

П'яний бузок з Іронії-планети,
Що володіє чарівним секретом:
Як кращими зробити нас усіх...

ФОФАНОВ (1926)

Великий дар Господь йому вділив,
Поета поєднавши і пророка.
Та влада виноградного пороку
Й царів перевертає на рабів.

В його оселі кожен із кутів
Чув сотні тем, що зв'янули до строку.
У позачася фатумом стооким
Він втягнутий – до винних погребів.

А навесні – у Божі іменини, –
Озерний дух вдихнувши баговинний,
Спустошений, він плівся в Пріорат*.

Там, забобонно вірячи у сутінь,
Був певен, що дійшов самої суті –
Й вливав у вірш свій скрушений виноград.

*Пріорат – скорочена назва Пріоратського палацу в Гатчині.

ХОДАСЕВИЧ (1934)

В щасливому будиночку, між нив,
Ліричний краяв на костюми ситець.
Але вони могли лише носитись
Один сезон: дешевий ситець гнив.

Ціну ж собі в Європі заломив
Цинічний спритник! Складно уявить це:
Венеру вмити похвалявся з коритця
Й став ватажком у критиків-громил.

Він, бачте, так от чистоту наводить,
То гоголем – розчванився і ходить,
То за Державіна себе вважа.

Відкопуючи мумії без ліку,
Обкурює їм фіміамом лики –
На зло живим, бо заздрість їсть, як ржа.

ЦВЄТАЄВА (1926)

Білявка із цигаркою. Такою –
Нудьгуючих безбожників божок.
У віршах тихий волзький беріжок,
Чи Разін із персидською княжною.

На слухачів – томливою маною
То барабана дрібний говірок,
То панночка, що зважившись на крок,
Вручає друга іншій зі сльозою.

Та враз поет, розважливо, всерйоз,
Таке зверзе – за шкірою мороз,
У дами – жар, і страх діймає франта...

Які там «перемоги» не верши,
Не зрушиш повний штиль її душі,
Що так властиво для її таланту...

ЧЕХОВ (1925)

Не знаю, як для німців скрупульозних,
Та він в Росії не смішний давно.
Разючий та іскристий, як вино,
Печальний гумор Чехова – серйозний.

Провінціалки, феї граціозні,
Із мріями прощались, мов зі сном...
І фатум доль, і істини зерно
У сміх крізь сльози втілив віртуозно.

Як і тоді, цвіте вишневий сад*,
Та пройдене не вернеться назад,
Свічадо не складеш з розбитих люстрець.

Як свідчення банальності життя,
Прах Чехова зазнає вороття
У холодильній камері з-під устриць**...

ШМЕЛЬОВ (1927)

Закінчувалось все. Квітучий Крим
І той вже готувався до відходу.
У приголомшеній людьми природі
Ставало все порожнім і жахним.

І море посинілим і густим
Баском бурчало про людську свободу.
І сонце на байдужім небозводі
Світило помираючим живим.

Так, над людьми, в стражданнях розпростертих,
Глумливо підіймалось сонце мертвих***
В безглуздо-живодайному вогні,

Як злий дракон, цілком із Сологуба,
У сміху золотому шкірив зуби,
Бо смерть стояла в кожному вікні...

*«Вишневий сад», 1903 – п'єса Чехова.

**Труна з тілом померлого в Німеччині письменника була доставлена на батьківщину у вагоні-холодильнику з написом «Устриці».

***«Сонце мертвих», 1924 – повість Шмельова.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

БИНКЕВИЧ Алесей Станиславович родился 1943 г. в г. Джамбуле (1943). Окончил Самборский (Львовской обл.) статистический техникум. Поэт, переводчик. лауреат муниципальной премии им. Б. Слуцкого и Международной литературной премии имени Расула Гамзатова. Живёт в Харькове (Украина).

ГОРДОН Александр Богданович родился в 1961 г. Поэт, прозаик, переводчик, критик, краевед. Зам. председателя НСП Украины. Автор 30 сборников стихов, а также 12 сборников переводов с польского на украинский и русский. Перевел на украинский язык отдельные знаковые произведения Гете, Э. По, Р. М. Рильке, П. Верлена, А. Рембо, Г. Аполлинера, Т. С. Элиота. Автор-составитель более 10 поэтических антологий, в т. ч. - двуязычных. Почетный член Союза независимых писателей Болгарии, отмечен медалью этой союза (2017) за вклад в европейскую и мировую литературу. Лауреат Международной литературной премии «Триумф» (2001), литературных премий им. М. Шашкевича (2011), им. Я. Дорошенко (2011), им. В. Мисика и им. Л. Череватенко (обе - 2017). Его стихи переведены на 12 языках. Живет в Киеве (Украина).

ГОРИШНА Наталья Владимировна родилась в 1959 г. на Житомирщине. С красным дипломом окончила инженерно-оптический ф-т Черновицкого гос. университета. Поэт, переводчик. Член НСПУ (2008). Автор 14 книг оригинальной и переводной поэзии. Переводит на украинский язык поэтические произведения с русского и болгарского языков (всего более 100 авторов). Ее стихи переведены на английский, болгарский и русский языки. Лауреат премий им. Василия Симоненко и им. Александра Олеся. Её девиз: «Писать сердцем, сердцем воспринимать мир!». Живёт в Черкассах (Украина).

ГЛЕБОВА Ирина Николаевна (Ирина Полякова) родилась в Харькове. По образованию – журналист. Поэт, прозаик. Член Союза писателей СССР. Член НСП Украины, член Союза писателей России. Автор нескольких десятков книг. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Харькове (Украина).

ГРАБОВСКАЯ Мария родилась в Харькове (1980). Член НСПУ. Кандидат философских наук, доцент. Автор четырех сборников. Лауреатка премии им. Б. Слуцкого. Живет в Харькове (Украина).

КОРОТКОВА Екатерина Васильевна родилась в Киеве. Закончила Харьковский институт иностранных языков (англ. отд.). Профессиональный писатель и переводчик. Специализируется на английской классической прозе XIX и XX веков. Живет в Москве (Россия).

КУЛИШКИН Георгий Семёнович родился в Харькове (1950). Окончил ХГУ филфак им. М. Горького. Работал в сфере бытового обслуживания населения. Публиковался в центральной и местной печати. Автор двух книг (1987, Москва,

«Молодая гвардия», 2016, Харьков). Одна из его книг экранизирована. Живёт в Харькове (Украина).

МАЧУЛИН Леонид Иванович - канд. филос. н., прозаик, краевед. Окончил филфак ХГУ им. А.М.Горького (1987), аспирантуру философского факультета ХНУ им. В.Н.Каразина. Член НСЖУ (1985). Работал в газетах, на радио, телевидении, книжном издательстве. Автор десяти книг по истории Слобожанщины. Живёт в Харькове (Украина).

МЕЛЬНИЦКАЯ Инна Владимировна (Гаврильченко, урождённая Оскнер) родилась в Харькове. Окончила Харьковский институт иностранных языков (1949) и аспирантуру при нём (1952). Награждена итальянской юбилейной медалью Ass.Naz.Alpini (1943-1993). Лауреат международной премии им. Долгорукова, премии им. Б.Слущкого, юбилейной премии журнала «Радуга». Член НСП Украины, СП России. Живёт в Харькове (Украина).

МЫЗГИН Кирилл Валерьевич родился в Харькове (1983). Окончил исторический факультет ХНУ имени В.Н. Каразина. Кандидат исторических наук, археолог, нумизмат. Преподавал на историческом факультете ХНУ. Обучался в Китае (Ухань), неоднократно стажировался в Германии (Бонн, Франкфурт-на-Майне), Великобритании (Оксфорд). Автор двух сборников стихов. В настоящее время – научный адъюнкт Института археологии Варшавского университета. Живет в Варшаве (Польша).

НИКИПЕЛОВА Нина Александровна - литературовед, канд. фил.н., доцент Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Живет в Харькове (Украина).

РАКОТИН Дмитрий Игоревич родился в 1962 году в г. Харькове. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Шевченко (1989). Автор восьми поэтических сборников. Живёт в Харькове (Украина).

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Леонид Мачулин. Рецепт вне времени «Писать сердцем»....	3
---	---

ПОЭЗИЯ

Мария Грабовская. Хронометраж	5
Алексей Бинкевич. «И спит младнец на руке, как слово на ладони речи»	18
Александр Гордон. «Мистецтво перекладу почуттів» ...	37
Кирилл Мызгин. «Если станет город мне тюрьмой...» ...	101
Дмитрий Ракотин. «Приходит грусть по-свойски, как на чай...»	209
Наталья Горішна. Медальйони	219

ПРОЗА

Георгий Кулишкин. Цирк	12
Инна Мельницкая. Неприятные рассказы	27
Ирина Глебова. Никогда в этом мире	55
Екатерина Короткова. Панночка	106

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Нина Никипелова. «Мой лес вечерний»	213
---	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

Биографические справки	237
------------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№34

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.12.2017. Формат 70х108 1/16.
Бумага офсет. Печать офсет. Гарнитура PragmaCond СТТ.
Уч.-изд. л. 14,70. Изд. №12. Зак. №__. Тир. 250 экз.

Адрес редакции для писем:
e-mail: **editor2016@ukr.net**
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: сер. ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331